

Ахто Леви

ЗАПИСКИ СЕРОГО ВОЛКА

АХТО ЛЕВИ

ЗАПИСКИ СЕРОГО ВОЛКА

■

МОСКВА · 1969

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ЖУРНАЛУ «К НОВОЙ ЖИЗНИ»
ИЗДАНИЕ МВД СССР

Ответственный за выпуск М. А. Гусев

Художественный редактор А. В. Горбунов
Корректор А. Г. Болотникова

А 05172 Подписано в печать 10.04.69
Печ. л. 8. Тираж 25 тыс. Цена 35 коп.

Типография им. Воровского

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

РАСКРЫВАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК

Мы любим и уважаем в себе лучшее, что в нас есть, человеческое. У иных иногда оно глубоко запрятано, и кажется, что исчезло. Иногда завалено мелкой житейской суетой. И вдруг — искусство, светлый луч, — пронизывает душу, вызывает из мрака все, что в ней есть лучшего, заставляет светлыми глазами плакать от прикосновенья к настоящему. Книг, дающих пережить это прикосновение, мало. Книгу, давшую мне при чтении большое счастье, хочу сейчас рекомендовать читателю. Пожалуй, это самое сильное, что было прочитано мною за последние десять лет.

Мальчик-эстонец с острова Саарема начал вести дневник своих мальчишеских приключений с той непосредственностью, какая бывает только в детстве. Приключения, — сперва обычные, — свели его со средой, называемой штампованными словами «дурная компания». Ступень за ступенью катится он вниз, от мелкого воровства к профессиональному грабежу, от бегства в нацистскую Германию и пребывания в «гитлерюгенд» до тюрем, лагерей, карцеров, драк, убийства, новых бегств, нового осуждения и опять бегства, жизни под чужим именем уже зрелым опытным вором — и опять лагерей, тюрем, «зон», бегств, карцеров... Но во все это время, время стремительного падения вниз, сохранилась одна детская привычка: разговор с бумагой. Не сразу дается умение говорить с бумагой. Она лежит перед тобой, белая. Ты перед ней — черный. Рука твоя в грязи, в мерзости, в крови — но рука сохраняет силу передачи, она снова и снова доверяет бумаге все, что произошло с человеком. Из года в год. Из тетради в тетрадь. Не хвастая, не умоляя, не самооправдываясь, не фальшивя, не придумывая, а именно так, как оно было. Рука сперва принадлежит мальчику, потом юнцу, потом парню.

И еще что-то постоянное, как ниточка, сквозь весь неслыханный калейдоскоп отчаянной, окаянной жизни, — происходит с бегуном: он ухитряется сохранять бумагу, жалкие истрепанные тетрадки, переписываемые начисто десятки раз круглым, детским почерком, когда бумага уже перестает «терпеть» от ветхости. Зарывает их в песок и при первой возможности — опять вырывает, дает на сохранение чужим людям — и чужие люди оказываются преданными, они сохраняют тетради. В этом постоянстве дневниковых записей, в неистребимом желании сберечь их, как свою драгоценность, сказывается одна из глубочайших человеческих особенностей: стремление к фиксации правды, хотя бы наедине с собой, хотя бы только для себя, как инстинктивно стремишься к чистоте, мытью рук, к воздуху из от-

крытой фортки... Сперва это постоянство, жажда записывать и сохранять записи, — кажется инертным и стоящим на одном месте занятием, ставшим привычкой. Но «стремление к фиксации правды» обладает свойством, которое не сразу замечает человек. Обнаженная, честная правда о себе — невольно тянется к суду над собой, к постепенному, все более четкому разделу понятий хорошего и дурного. Это происходит не скоро. Это похоже на то, как идет поезд в длинном, многокилометровом туннеле. Сперва, от времени до времени, черноту ночи прорезывают яркие вспышки огня, — это очередные электрические фонари на пути; они подобны встречам, событиям, чувствам, на мгновенье прорезающим ночь его страшной жизни. За ними опять ночь. Но вот десять, двадцать, тридцать минут, и вместо очередной желтой вспышки — на стены туннеля просачивается что-то слабое, серое, скользящее, но не уходящее, — оно крепнет, ползет, светлеет и вдруг — светлая белизна дня, свет прочный, свет, нужный глазу, — поезд вышел из туннеля в день. Голос юнца на бумаге становится все более зрелым, все более крепким. Юнец становится человеком, и человек — раскрывается.

Рассказать о дурном с одной только фиксацией правды — легко. Таких рассказов было в литературе не мало. Но рассказать о том, как ты, сквозь все, самое последнее из мерзостей жизни, становишься настоящим человеком, — очень трудно. На этом пути есть две, почти неминуемые опасности. Или ты понесешься по шаблону «перевоспитываемых», особенно злоупотребленному в нашем писательском быту; шаблону, который в искусстве просто неубедителен, сделался, едва родившись, собственной на себя пародией. Для такого шаблона, совсем как для вора с его ассортиментом отмычек и воровских инструментов, уже заготовлено множество привычных штампов, привычных образов охраны, следователей, сценок труда. Или ты влезешь в «психологию», тоже с отмычками всяких штампов, заготовленных предыдущими книгами, сделаешься сентиментальным, утонченным, сюсюкающим. Ни того, ни другого нет в повести. Каким-то чудом внутреннего такта, обходя затасканные штампы — записки рассказывают о пробуждении настоящего в человеке. Именно во второй части дневников, относящейся ко второй половине пятидесятых — первой половине шестидесятых годов, начинается это пробуждение, да так, что вам ясно: настоящий человек гнездился еще в мальчишке, он был только семечком, зерном, ему нужно было найти клочок земли, чтобы укрепиться, пустить корни, вырасти. Человек начинает искать эти «клочки земли» вокруг, подлинное, реальное бытие: он переживет его сперва в любви к женщине, любви, которую еще не понимает сам в себе как любовь, потом в утрате любимой, погибшей от ножа воровской шайки; в окружении, казалось бы, отпетых людей, членов своей бригады, каждый из которых как будто насквозь дурной и вредный. Во всем живом, что его окружает, в прирученной мыши, в прирученном воробье...

Незаметно для себя он открывает читателю свое великое приобретение за долгие годы тюрьмы; уменье терпеть или, верней, упорствовать во взятой линии поведения. Приручить людей не так легко, как мышь или воробья. Но способ тот же: повторять и повторять действие добром, не взирая ни на какой отпор.

Замечательны страницы, где рассказывается, как в самой трудной камере для озверелых бандитов, где пол заплеван и никто не хочет убирать грязь за собой, он молча начинает работу уборщика и помойки. Над ним издеваются. Вымоет — на вымытый пол со всех сторон снова летят плевки. Он опять моет. Так длится долго. Но не до бесконечности. Упорство выши-

бает душевные пробки. Зверь в человеке отступает. Кто-то не вынес, встал. За ним другой. Плевки прекратились. Люди включились в уборку.

Вот таким упорством самоотдачи полны записки второй части. Они предельно искренни, в них нет ни намека на ту условность, с какой рождается искусство слова. Но сила их выразительности так велика, что не всякому искусству померяться с ней. Это — человеческий документ.

Вместе с крепнущим «человеком в себе» растет у эстонского «бегуна» и способность к обобщающему мышлению. Он излагает свои обобщенья бесхитростно. И право же — они становятся кристально чистым, коротким путем от слова до смысла, от того, какой родилась у него мысль и какими словами она высказана. Вот он выходил больного товарища, когда-то сделавшего добро ему самому. Он уже понимает, что душевное движенье не остается изолированным. И обобщает для себя: «Если ты мышь обласкал и она тебя полюбила, в бороде твоей жила, если ты воробья выкормил — он тебя полюбил, от тебя улетать не хотел, ты полюбишь и человека, и он тебе тем же ответит...» Или вот он слушает музыку. Конечно, ему доступна пока, может быть, только простейшая примитивная форма музыки. Он хочет обобщить свою любовь к ней, но тут же мудро себя одергивает, — слишком большой опыт за прожитой им жизнью, чтоб воображать, будто ты все понимаешь. Послушайте, как это искренне и просто, — как на голову выше многих ученых рецензий профессионалов:

«Когда слушаешь музыку, в жизни все прекрасно, когда слышишь хорошую песню — и сам запоешь. Музыка может заглушить любую боль, дать силу и энергию, и, по-моему, человеку не прожить без музыки. Только я люблю музыку темпераментную, жизнерадостную и мечтательную, когда звуки радуют, ласкают, лечат; музыку, что вдохновляет. Музыка — это частица природы, ее вздохи, песни, плач и смех; в ней отражаются краски природы и настроения людей; музыка — это жизнь. И все же не всякую музыку я понимаю. Тем не менее жизнь — это жизнь. Значит, так и в музыке: хотя непонятно, но музыка — это музыка».

Я перечислила многое, что есть в книге хорошего. И все же не это главное в ней. Я уже говорила, что обнаженная, честная правда о себе — невольно приводит к суду над собой. Но суд над собой — не только субъективный. Он неизбежно связан с нравственными критериями, выкованными эпохой и ее общественными отношениями. И вот, читая бесхитростные, но такие яркие страницы человека, далекого от всякой политики, почти не знающего основ того строя, где он живет, вы видите, как суд, которым он судит себя, проникнут новыми, советскими критериями, великим ленинским нравственным началом.

Хотим мы или не хотим, умеем или не умеем видеть это новое нравственное начало, — оно пронизывает нашу совесть и, как воск в сотах, скрепляет, строит, воздвигает на земле тип нового человека. Автор записок нигде не был предумышлен, он не помышлял об «агитации», ни единым словом не приукрашал жестокую действительность, в которой жил, но читатель чувствует, что «ключи земли», на которые падали душевные зерна его; земля, где укрепилось и произросло его человеческое «я», могли быть только нашей советской землей — новой землей социализма.

Повесть, доставившая мне редкое наслаждение при чтении, называется «Записки Серого Волка». Автор ее Ахто Леви. Читатель не пожалеет, если прочтет ее.

МОЕЙ НАЗВАНОЙ МАТЕРИ
ВЕРЕ ИОНОВНЕ ФРАНЧУК

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ
ГОД 1943

Абрука — это пиратский остров. Пираты не живут там, а привозят на остров награбленные драгоценности, золото и прячут. Остров весь покрыт диким лесом, в котором обитают страшные, выше человеческого роста птицы с длинными, как у журавлей, клювами. Птицы эти хищные, питаются мелкими лесными зверюшками, но больше всего они любят человеческое мясо, которым их балуют пираты. Пираты убивают на острове пленных и отдают птицам трупы. Зато стоит какому-нибудь чужому кораблю бросить якорь в маленькой бухте у острова, как на берегу собираются таинственные птицы — встречать пришельцев. Когда лодки пристают к берегу, птицы своими страшными клювами убивают всех, кто не успеет спастись бегством. Абрука — страшный остров. Никто оттуда живым не возвращается. И этот остров очень далеко, в стороне от больших морских путей. Ближе всего к нему лежит путь тех кораблей, что ходят на далекий архипелаг Рухну. Говорят, однажды на один из таких кораблей напали пираты, захватили дочь губернатора Рухну, и больше о ней никто не слышал. Она наверняка в плену у пиратов, потому что очень красива и, конечно, ее они не убили. Я уже давно слышал об этом острове — рассказывали моряки. А я о нем рассказал Черной Пантере, то есть Свену, и мы решили снарядить туда экспедицию. Капитаном экспедиции буду я, моим помощником — Свен. Только нужно раздобыть оружие и никому не открывать эту тайну.

Отец отлупил меня сегодня узким ремнем. Он все чаще стал за него браться. А что я делаю?.. Раньше он в таких случаях обходился широким. Подумаешь, не был в школе... Свен и вовсе не ходит, и никто его за это не бьет. Я его спросил, чего это он не ходит. Он говорит: «Надоело гимны разучивать. Не успел один как следует выучить — учи «Интернационал», выучил этот — теперь учи «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес». Ерунда, просто у него отца нет, а мама его не бьет.

Я бы пошел сегодня в школу, но вчера еле выклянчил у Красной Лисы — Вальдура «Виннетоу», на один день, ну и читал в логове. Мое логово в трюме старой-старой яхты, которая больше никогда не выйдет в море. Она стоит в камышах, недалеко от нашего дома. Вся заросла мхом и водорослями. Здесь мои книги и тетради, оружие и пожелтевший череп кошки с маленькими клыками. На нашей улице у всех ребят есть клички, и если

назовешь кого-нибудь по имени — получишь в морду. Все нахватали кличек пострашнее и всех хищных зверей разобрали. Мне только Серый Волк достался. Я сперва был Красным Волком (такие в прериях водятся), но у нас уже есть Красная Лиса, поэтому я решил быть не Красным, а обыкновенным Серым Волком.

Сегодня домой не пойду, буду спать в логове. У меня здесь старый мамин половик и кусок одеяла. Это моя постель. Можно набрать мха и изготовить мягкую постель, но надо привыкать на твердом: Виннетоу — вождь индейский — спал на голой земле и никогда не болел. Потому что был закаленный с детства. А домой пойду тогда, когда отец уйдет в казарму. Хлеб у меня есть, вода — тоже.

■

Где взять оружие? Настоящее оружие: пистолеты, мечи, шпаги. Мы с Черной Пантерой думали-думали и решили посоветоваться с Красной Лисой. Вальдур, то есть Красная Лиса, явился на сходку к большому камню около старой пристани с солидной шишкой на лбу. Он долго отнекивался, потом признался, что шишка — от Пумы. Пума — это Эрик. Он сосед Красной Лисы, и они очень дружны, поэтому оба постоянно ходят в синяках. Пуму вообще-то следует когда-нибудь проучить, он не наш и якшается с другой компанией. Взяли клятву с Красной Лисы и рассказали ему про остров. Он сразу придумал, где взять оружие: в музее.

Музей находится в старой крепости. Это настоящая крепость древних рыцарей-крестоносцев. Мы знаем тайные ходы в крепость, так что можем туда войти в любое время, когда захотим. Обычно крепость открыта только по воскресеньям, когда распахиваются большие железные двери и специальные люди ходят с посетителями, все им показывают, объясняют. Это вовсе не интересно. Когда сам — это да. Крепость большущая, страшная. Много темных помещений, тайных ходов. В ней есть тюрьма и церковь, есть камеры пыток и глубокие колодцы, куда бросали живых людей. Есть львиные пещеры, они начинаются из-под самых пашен и уходят глубоко в землю. На дне этих пещер жили когда-то медведи или львы, и к ним сверху бросали осужденных. В пещере и сейчас видны истлевшие кости, может, человеческие. Конечно, человеческие.

Музей — три большие комнаты на третьем этаже. Чего там только нет: фигурки разные из гипса, и картины, и тряпье... И рыцарский железный мундир там есть. А оружия — вдоволь! Пистолеты, сабли, кривые турецкие мечи — все, что хочешь. Да, Красная Лиса прав. Там есть чем поживиться.

В музей ведут две двери. Одна большая, через нее входят посетители и вообще все. Другая дверь маленькая, заложена картинами и гипсовыми фигурками. Ею никогда не пользуются, через нее-то мы и проникаем в музей. Нужно подобрать ключи или изготовить отмычки, которыми «работал» парень из романа «Банда Желтого Дьявола». Это я взял на себя. Черной Пантере и Красной Лисе поручил захватить корабль. Это проще всего, можно стащить любую плоскодонку со старой пристани Тори. Ну, еще нужны весла.

■

Приехал отец и увез маму в больницу. Он теперь будет жить дома, пока не вернется мама. С одной стороны, это хорошо: он повесил на стене пистолет, и интересно, когда он его чистит. С другой стороны — совсем

плохо: надо все время сидеть дома и от школы теперь не отвертишься. С мамой просто: утром вместо школы иду в логово. А когда все идут из школы — я домой, был, говорю, в школе. Мама всему поверит. Отец же все проверит, пойдет узнает у учителя и тогда...

Лейно спросил у него, почему это мама стала такая толстая. Лейно — мой братик, он еще только в первом классе. Отец сказал — потому что у нас теперь будет еще один братик, а может, и сестренка. Я понял, а Лейно все допытывался, почему мама толстая стала. Отец его успокоил, сказал, что она будет снова тонкая, когда придет домой.

К нам теперь каждый день приходят офицеры — эстонские, немецкие тоже. Сидят в зале и пьют коньяк. Отец им играет на аккордеоне, и все поют. Мне и Лейно они иногда приносят конфеты или шоколад, но самое интересное, когда они рассказывают про войну. У них, у всех, кроме отца, много крестов еще за Польшу. Скоро все они, и отец тоже, пойдут на Восточный фронт. Тогда и отец получит орден или, может, железный крест. Скорей бы пришла из больницы мама — у меня уже много разных ключей и отмычек, вполне можно идти в крепость за оружием.

■

На Абруке, должно быть, есть клад. Приезжал с Рухну капитан Андрес, и я у него кое-что вынюхал.

Был когда-то давно известный пират Себастьян дель Корридос, испанец. У него был фрегат с двенадцатью пушками и двумя мачтами. Это был самый быстроходный корабль тех времен. Называли его «Черный Альбатрос». Всюду поспевал дель Корридос на своем летучем корабле, и восемнадцать лет дрожали перед бесстрашным разбойником все честные мореходы. Восемнадцать лет он успешно грабил, а потом решил обосноваться на острове Абрука и давно запрятал там все свои сокровища. Но в океане его настиг штиль. Ветры стихли, паруса бессильно повисли на мачте, и «Черный Альбатрос» стал средь океана. Пришла ночь. А на утро, когда при восходе солнца подул ветер, пираты с ужасом увидели, что к ним приближается большой британский корабль с тридцатью пушками на борту.

Капитана Себастьяна дель Корридоса не испугал неожиданный враг. Суровая жизнь научила храброго пирата мгновенно принимать решение. На мачте «Альбатроса» взвился флаг — сигнал бедствия. Когда с военного корабля спросили, что случилось на «Альбатросе», ему ответили, что на палубе чума. К сожалению, командир британца оказался подозрительным и решил проверить это. Едва шлюпка с британца подошла к «Альбатросу», парусник дель Корридоса внезапно рванулся вперед и, опрокинув шлюпку с несчастными английскими моряками, помчался прочь. Военный корабль дал залп. О спасении не могло быть и речи. Пираты отстреливались из единственной уцелевшей пушки, хотя знали, что гибель неминуема. Но дешево продавать свою жизнь они не собирались. Молодцы!

В плен попали всего тринадцать отважных пиратов вместе со своим капитаном. Раненых побросали за борт, жалости здесь не знали. Всех пленных повесили на мачте. Себастьяна дель Корридоса увезли в Англию, от него требовали, чтобы он указал, куда спрятал свои сокровища. Но старый пират не открыл своей тайны, и его повесили. Так погиб отважный корсар Себастьян дель Корридос, а его сокровища находятся на острове Абрука, и нам необходимо их добыть.

Уже зима настала. Выпал снег. Пришлось перебраться в зимнее логово. Оно у меня на чердаке. Так и не успели разыскать клад. Велло меня не понимает, смеется, говорит, что это все бред, мол, никакие пираты не стали бы жить на Абруке, на этом маленьком пятачке земли, недалеко от большого, прекрасного, покрытого лесами острова Саарема. Будто я этого сам не понимаю, но так неинтересно. Вот я хочу, чтобы были на Абруке непроходимые леса, и странные птицы, и пираты — так интересно, и все это действительно есть, все равно есть. Велло говорит, что это игра, он говорит, что сбежать из дому на фронт, воевать, все равно с кем, можно на стороне русских — против немцев, — вот это настоящее приключение. Я согласен, это, конечно, здорово, но меня могут на фронт не принять — ни на чью сторону. Велло что, ему пятнадцать лет. А мне еще когда тринадцать будет, аж летом. Про музей я ему не сказал, опять станет смеяться. Мы уже с Красной Лисой побывали в крепости, разыскали ту маленькую дверь, только все наши ключи не подошли. И отмычки тоже не подошли. Работали долго, Красная Лиса светил, а я работал. Потом я светил, а он работал. Попробовали выломать эту проклятую дверь, но она очень толстая. Ушли ни с чем. Но мы это дело не оставим, до весны времени много. Я обязательно сделаю подходящие отмычки. И тогда мы найдем клад капитана дель Корридоса. Он есть, его спрятали там, в лесах острова Абрука, пираты. Они тоже есть.

Вернулась из больницы мама. Тонкая стала опять. И сестренка теперь у нас есть. Зовут ее Кадри. Совсем крохотная, такая противная, все время кричит, и всегда мокрая. Мама заставляет нас с Лейно за ней смотреть, а мы не хотим и убегаем из дому — кто кого опередит. Отец и мама что-то стали ругаться, и отец почти совсем дома не бывает. Он говорит, что его не отпускают из казармы. Но однажды вечером я пошел его искать, а в казарме сказали, что он каждый вечер уходит домой. А дома его нет. Неизвестно, где это он.

■

И все-таки мы сбежали с Велло насовсем. Пошли по льду через пролив Муху и пришли в порт Виртсу. Но здесь нас сцапала полиция и привезла обратно домой. Велло отлупил старший брат, а меня — отец. Когда я уходил из дому, его не было, но теперь он откуда-то взялся и, как только ушел полицейский, избил меня так, как давно не бил. Потом ему словно жалко стало, он сказал, что больше так бить не будет, что вообще не будет бить и чтобы я его простил. Но он сказал еще, что уходит от нас совсем, а почему — этого я сейчас не пойму, когда стану взрослым, тогда пойму. Он действительно взял чемодан, попрощался с Лейно и Кадри и, ничего не сказав маме, ушел. Мама все это время плакала, а когда отец ушел, сказала:

— Ну вот, больше нет у вас отца. Одного приводят, другой — уходит, все уходят... что же это такое? — И снова заплакала.

Почему все-таки он ушел?

■

Когда услышал свист, я понял, что это Красная Лиса ждет у сарая, и сказал Лейно, чтобы смотрел за Кадри. Лейно сперва не любил оставаться с Кадри, все старался увильнуть, но теперь привык — даже вроде нравится ему. Только и на улице ему хочется поиграть. Поэтому он всегда следит, чтобы я его не надул, а я это люблю, надувать. К тому же мне

надо раздобыть оружие. Да, это свистел Красная Лиса. Мы пошли в крепость.

Чтобы попасть в замок, надо пройти через большой парк, подняться на высокие крепостные валы, откуда хорошо смотреть на море, спуститься во внутренние дворы, где расположены стадион и спортплощадки разные, затем подойти вплотную к замку и разыскать совсем маленькое, еле заметное, закрытое железным люком окно. Отодвигаем люк и лезем. Мы очутились на нижнем этаже замка. Серые сводчатые потолки, толстые каменные колонны. Но страшно-то как... Тихо, как в могиле. И запах словно могильный — страшно воняет. Мы уже знаем, куда идти. Это в прошлый раз долго искали. Крадемся тихо, как настоящие индейцы, только слышу: тук-тук, тук-тук. Это сердце так колотится.

У нас большая связка ключей и отмычек. Работаем осторожно, к каждому шороху прислушиваемся. Уж не знаю, сколько прошло времени, пока, наконец, какая-то отмычка не открыла с треском замок. Настала решительная минута. Осторожно толкаю дверь, и вдруг — что это? В груди стало холодно. Что-то за дверью страшно загрохотало, а потом еще грохот, и еще. Потом все стихло. Это мы гипсовые фигуры опрокинули и картины. Вошли в музей, кинулись туда, где под стеклом лежали пистолеты. Я схватил один, но Красная Лиса сказал, что это кремневый, допотопный, — я его бросил. Взял другой, похожий на наган. Потом еще один, очень красивый. И Свен тоже вооружился до зубов. Пошли к мечам, и я взял саблю. Только положил обратно: тяжелая очень и длинная тоже — неудобно. Вот маленький кинжал — в самый раз. Взял еще кривой турецкий ятаган. И Свен взял тоже ятаган. Потом — ходу. Уже стемнело, и никто не видел, как мы с кривыми турецкими мечами добирались до дома. Я все спрятал на чердаке, в зимнем логове. Скоро лето и тогда... поход на Абруку.

■

Встретил отца. Я был в кино, смотрел «Эшнабургского тигра» и вдруг увидел отца. Он стоял с какой-то женщиной. Мама как-то говорила соседке, я подслушал, что отца соблазнила «эта дрянь» или еще — «кошка драная». Я сразу понял, что это и есть та «кошка», и хотел дать от них деру, но отец меня увидел и позвал. Пришлось пойти с ними. Отец стал расспрашивать о Лейно и Кадри, а я все говорил: ничего. Когда пришли к ним, нас встретила девочка с красивыми синими глазами, и волосы у нее были красивые, и ушки тоже — маленькие такие, просвечивались. Ее зовут Лести. А маму ее — Лиль Кеза. Лиль — имя, Кеза — фамилия. Она, по-моему, некрасивая, мать лучше. Отец собирался уходить, а меня с собой не позвал, сказал:

— А ты сиди, поиграй с Лести.

Когда уходил, еще сказал:

— Приходи снова, в другой раз.

Лиль Кеза меня тут же начала расспрашивать, какие я люблю кушанья. А я все люблю, так и сказал ей. Она мне дала лепешку с медом и спросила, я маму очень люблю или не очень. Я сказал, что очень. Она сказала, что правильно, маму надо, мол, очень любить, мама хорошая. Потом она спросила, как у меня в школе дела. И я опять сказал: ничего. Не мог же я рассказать, что я в школе почти не бываю, а если и бываю — все списываю у Альберта и наверняка останусь на второй год в третьем классе. Лести уже в четвертом учится, она в другой школе.

Когда я уходил, Лиль спросила — люблю ли я книжки и какие. Я сказал, что люблю приключенческие. И она дала мне «Дон Кихота». Я эту книгу так и не прочитал — скучища. Рыцарь там какой-то дурак, на мельницу нападает, вечно в смешных положениях... Разве это рыцарь?! Шут гороховый. Нет, такие книги я не люблю. То ли дело «Горбатый ковбой», или «Таинственный зов», или «Виннетоу», или «Голубое приведение». Еще интересные есть книги про Шерлока Холмса. И о пиратах. Это я понимаю — приключения.

Когда я сказал маме, что был у отца, она стала грустной. Потом решила:

— Ну, что ж, если он тебе нужен — ходи к нему. Ведь он твой отец. — О Лиль она ничего не спросила, и я ничего не стал говорить. Как-то все нехорошо: У Лести не было отца — тоже ушел от них — теперь у нее чужой отец, а у нас — никакого. Может, и у нас потом будет чужой... Ну, тогда я сразу драпану, куда хочешь сбегу. А Лейно еще дурак, ему ничего.

Отец уехал на фронт. Провожали его Лести, Лиль Кеза и я. Мы стояли неподалеку от машин, и отец все время разговаривал с Лиль, а мы с Лести смотрели, как рассаживались в машинах солдаты. Машин было много, только отойдет одна, полная, подъезжает другая. Потом отец сказал Лиль: «Пора» и поцеловал ее и Лести. А мне почему-то прошептал: «Помогай маме». Лиль и Лести отвернулись от нас, и отец меня быстро поцеловал в лоб. Он полез в кабину, сел рядом с шофером. Машина тронулась. Если отца убьют на фронте, не будет тогда отца ни у меня, ни у Лести.

Уже весна, лед на море совсем растаял, меня оставили на второй год в третьем классе. Нехорошо, конечно. Достал «Тарзана», всего шесть книг. Уже прочитал первую, вторую, третью. Здорово! Но все-таки «Черный капитан» интереснее. Тарзан что, просто он очень сильный. Другое дело, когда ты пират — смелый, находчивый, ловкий. А так просто жить в джунглях и убивать всякое зверье... Но мальчишки с ума сходят из-за этого «Тарзана». Все деревья обломали, висят на ветках целыми стаями, как вороны.

Скоро на Абруку, за сокровищами капитана Себастьяна дель Корридоса.

...Назначаю отплытие из порта Тори. Команда — Красная Лиса и Черная Пантера, капитан — Серый Волк. Находимся в море двенадцать недель. Поднимается шторм. Корабль терпит крушение, команда бросается к шлюпкам и уходит в море. На погибающем корабле остается один капитан, то есть я. Капитан, как полагается, последним покидает корабль, на последней шлюпке, которую два дня безжалостно треплет ураган. Капитан едва жив. Когда ветер утихает, наступает штиль, и несколько дней неумолимо жжет капитана ослепительное южное солнце. Он целыми днями лежит на дне шлюпки, уставясь в синее, без единого облачка небо, ночами восхищаясь бесчисленными мириадами ярких звезд. Иногда над ним пролетают птицы, но он не знает, что это за птицы и куда летят. У него есть маленький бочонок с пресной водой и сухари. На пятый день показывается земля. Волны медленно, но уверенно несут к ней шлюпку с усталым капитаном. Уже отчетливо видны высокие прибрежные скалы, и стаи птиц шумным гомоном приветствуют капитана. Но где же пристать? Кругом скалы, острые камни, смерть грозит капитану, а как хочется жить... Тут он видит в ровной стене отвесных скал темное отверстие, словно вход в туннель. Работая изо всех сил веслами, капитан направляет туда шлюпку и въезжает в окруженную со всех сторон высокими крутыми скалами маленькую бухту. Вода в этой бухте черная, спокойная, будто в ко-

лодце. Это даже не бухта, а скорее пещера, каменные стены которой обросли столетним мхом. Здесь капитан замечает еще одно отверстие, а рядом с ним большое железное кольцо, вделанное в стену. С удивлением видит он еще много таких колец, и ему становится ясно... Это и есть караван пиратов. Значит, он на острове Абрука.

...Опять кто-то зовет. Это мама.

■

Как хорошо в старой яхте в камышах. Здесь еще порядком воды, но яхта стоит на небольшом бугорке уже совсем сухая. Я снова переселился сюда, перенес свои книги, и тетради, и кошкин череп, и оружие. Дома, на чердаке, никогда ничем по-настоящему не займешься, потому что это мое логово всем известно. Только начнешь читать — мама зовет, а там еще Велло залезет. А я не люблю, когда в мое логово ходят посторонние, особенно Велло. Он все высмеивает: и револьверы ненастоящие — чепуха, и кошкин череп — ерунда, а ятаган, по его мнению, вовсе бесполезный предмет, которым даже капусты не нарубишь. Он говорит, что надо захватить какую-нибудь моторку, перейти в ней Рижский залив и высадиться где-нибудь в Курляндии. Потом перебраться в Литву, а оттуда — в Польшу, и дальше — в Германию. Можно, наконец, и до самой Африки добраться. Он говорит, что если я не хочу, он один пойдет. Потом мне завидно станет, но будет поздно. Тебе, говорит он, кошкин череп жалко бросать и все такое. Но кошкин череп тут ни причем, мне маму жалко. Отца теперь нет, а от Лейно никакого толку. Маме тяжело — и в очередях надо стоять, и вязать, и за Кадри смотреть. А тут еще дрова заготовлять на зиму. Мало что еще. И все же было бы здорово смотаться в Африку. Там всегда тепло, зверье всякое, можно жить и в джунглях, как Тарзан. Если бы не Кадри... И для чего она родилась!

■

Нет на Абруке пиратов — просто там живут рыбаки. И обезьян нет, и пальм. Никаких хищных птиц тоже нет. Я знал, что это просто маленький остров, где живут обыкновенные рыбаки, но было так интересно думать, что это прибежище пиратов, и я так к этому привык, что мне показалось, будто это так и есть. А вот доктор говорит, что это — фантазия. Он говорит, что хорошо, когда у человека есть фантазия, но плохо, если ее чересчур много. Он сказал, что у меня — чересчур. Но это ладно. Вот Свен и Вальдур... Ух! Предатели. Трусы ничтожные, шкуры. Всегда так: храбрые индейцы до тех пор, пока не дойдет до дела.

Это была плоскодонка Андреса Мальгарда, отца Вииве. А Вииве — это само собой понятно — девчонка. Когда я еще совсем ничего не соображал, мы иногда с ней играли. Потом больше дрались. Паршивая девчонка. Ее отец — старый капитан Мальгард — не рыбак, но корчит из себя морского волка, ни с кем из рыбаков и знаться не хочет. Живут эти Мальгарды в большом красивом доме. У них есть две большие яхты и еще моторка. Мы-то стащили захудалую лодчонку, да к тому же она оказалась дырявой. Стащить лодку я поручил им — Свену и Вальдуру, команде. Они пригнали плоскодонку в камыши у Каменной Дороги. Стянули и весла. Я забрал все оружие — ятаган и два пистолета, на всякий случай веревку и большую банку из-под килек. Вальдур принес компас, Свен — бинокль. Это мы приготовили еще с вечера, договорились отплыть утром.

Пришел я утром на место — их нет. Ждал, пока не посинел от холода. Как назло такой поднялся ветер — жуть. Волны вздыбились и шипели. Небо затянуло большими черными тучами. Наконец гаврики появились. Но Вальдур, опасливо косясь на меня, тут же заявил, что у него мама заболела и ему велено идти в аптеку, так что... Извини, мол. А Свен сказал, что если Вальдур не пойдет, то и он тоже не пойдет.

— Не хотите, трусы ничтожные, я один пойду, — сказал я им. Они тут же поспешили смыться, унося с собой и бинокль и компас. Компас был мне не нужен, да и бинокль тоже, потому что остров Абрука и так хорошо виден. Забрался в лодку, сел на весла. Лодку сразу начало кидать, как скорлупку, и ветер погнал ее в открытое море.

Поначалу я кое-как справлялся, но через пару часов устал, пытался обратно грести, но ветер дул так сильно, что я вертелся на одном месте.

Тогда, чтобы не унесло совсем в открытое море, я начал лавировать: против волны и ветра вверх — и снова по течению вниз, ближе к острову. Вдруг в лодке появилась вода. Она быстро-быстро прибавлялась. Собрав в лодку весла, я банкой из-под килек стал вычерпывать воду. И тогда заметил в дне большущие щели. Эти собачьи души и дыр не заделали! Затыкать их было нечем и некогда, потому что, пока я вычерпывал воду, ветер понес меня черт знает куда. Схватил весла и изо всех сил стал тянуть лодку опять вверх. А руки так устали... Большие волдыри на ладонях начали лопаться, было больно, а грести надо, не то утонешь. Страшно стало. Чем заткнуть щели? Разорвал рубашку — мало. Одну дыру заделал, а их еще три. Разорвал и брюки, и трусы, и майку тоже. Вода перестала прибывать. Взялся за весла и давай тянуть обратно. Так устал, так устал, а остров вроде и не приближался.

Ветер сделался сильнее, и тут я уже ничего не соображал. Только и понимал, вот идет волна, и мне нужно держать лодку к ней носом, иначе опрокинет. И надо что есть сил тянуть. Уже стало совсем темно, сколько прошло времени — я не знал. Однако я заметил, что остров стал виден отчетливее, и от этого силы вроде прибавились. Я уже совсем не чувствовал рук, греб механически. Прошло еще много-много часов, и вдруг мне показалось, что волны стали меньше, а остров Абрука уже совсем близко. Из последних сил я налег на весла, и лодку выбросило на песчаный берег.

Я выполз из лодки, поднялся. Ноги дрожали, и сам я тоже дрожал. Голова кружилась, перед глазами маячили какие-то тени, какие-то нити. Недалеко темнел лес, обыкновенный, ореховый. Конечно, никаких пальм и обезьян на острове не оказалось. Но это мне и так было известно. Только сейчас мне не до пальм было. Я побрел, еле передвигая ноги, в лес. Было страшно жарко. Я все шел, шел, ветки меня царапали, голого, кольнуло чем-то в ногу. Потом я вроде споткнулся и упал. А потом появились эти страшные птицы и начали бить меня клювом. Я закричал, кричал долго и очень сильно, но птицы не испугались, все били меня по голове. Я заплакал. Но они мне ничего не сделали плохого. Один большой пират поднял меня и понес куда-то. Затем все куда-то пропали, и я не помню, что было дальше.

Когда я проснулся, было светло. Светило солнце. Я лежал на старой деревянной кровати, укрытый овчиной. Но мне было теперь очень холодно. Я дрожал. Так болели ладони, словно я держал в руках горящие угли. Ко мне подошли пираты, но они были вовсе не пираты, а обыкновенные рыбаки. Мне дали пить.

Я лежал много дней в этом доме, и одна старенькая, совсем седая старушка все время сидела около меня. Потом за мной пришли незнакомые люди с носилками, понесли меня на большой мотобот и привезли до-

мой. Теперь у меня температура очень высокая. Каждый день приходит доктор, тот самый, который говорил, что когда у человека есть фантазия — это хорошо. А Лейно теперь тоже достанется — смотреть за мной и за Кадри. Мама меня простила, она хорошая.

Я, конечно, помогаю маме, все делаю, что она велит, но все-таки из-за меня ей много приходится плакать. А ведь я не назло это делаю. Как-то само собой получается. Недавно с Морским Козлом подрался. Он здоровее меня намного, и мне крепко досталось, но он толстый и не очень ловкий — ему тоже перепало. Я пришел домой в порванных брюках и весь в синяках. Мама плакала. Ходили с Оленьим Рогом за яблоками к Иосифу Канарику. Сад у него большой, яблок — каких хочешь. Попались. Канарик пригласил мать и выпорол нас при ней, и она опять плакала. Вчера собрали в роще за Тори-рекой сходку вождей, а тут нас атаковали ребята из банды «Зеленый Змей». У нас с ними постоянная война. Они атаковали, начали бросать камни, и мы тоже. Мне в голову угодил камень. По шее потекло что-то теплое, и я прибежал домой. Мама, конечно, опять плакала. Она не ругается, только сразу в слезы, а это еще хуже. Лучше бы уж ругалась.

Скоро осень. Опять в школу. Опять в третий класс... Ах, как не хочется в школу. Велло говорит: «Неужели не надоели тебе все эти склонения, спряжения, деления, умножения, без которых умному человеку прожить намного проще». Надоело. Еще как! Только немецкий, говорит Велло, заслуживает внимания — может пригодиться. Но и немецкий мне тоже надоел. Терпеть не могу. Как войдет наша «немка» в класс, в очках, толстая, вся черная, голос у нее низкий, и хрипит она к тому же; как проквакает своим низким, лягушачьим голосом: «Гутен тааг, киндер», — так весь класс фыркнет и, стараясь подражать ей, растягивая это удовольствие, заквакает: — «Гутен та-а-а-г». А некоторые нарочно при этом говорят не «тааг», как положено, а «кваак», и все трясутся в беззвучном смехе. Надоело все это. Единственное, что мне нравится, — это сочинения. За них у меня всегда пятерки. Учителя читают их вслух всему классу. Остальное же — арифметические задачки и все прочее — мура, не то чтобы уж очень трудно, но скучно. Самая скучная писанина на свете. Велло говорит, что у него есть великолепный план. Он, разумеется, предлагает удрать — в Германию.

— Не вечно же тебе торчать, — говорит он, — у маминой юбки.

И он вроде прав. К тому же есть у него на примете еще один подходящий парень — будет нас трое. Удерем, наверное.

■

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ
ГОД 1944

В день отъезда.

Мы пришли в порт за три часа до отхода баржи и, дожидаясь ее, разгуливали по пристани, глазея на суда, стоявшие на рейде. Нас трое: Велло, Эндл и я. Из нас самый сильный Велло, самый образованный Эндл и самый ловкий — я.

Через год мне исполнится четырнадцать лет. Но нам ждать некогда, и мы изменили немного одну цифру в моей метрике. Сделал это Эндл. Он, оказывается, мастак на такие дела. И теперь меня отпускают в Германию.

Собственно, отпускает лишь комендатура, а мама ничего не знает. Когда я подал ей чистый лист бумаги и попросил показать, как она расписывается — просто так, любопытства ради, — она не подозревала, что мы потом на этом листе напишем заявление от ее имени. В заявлении она мне, своему сыну, разрешает уехать в Германию, к «проживающим там родственникам»... Такие же заявления сделали себе Эндл и Велло. Вместе с метриками мы понесли эти заявления в комендатуру и получили там необходимые для выезда документы. Потом с рюкзаками собрались у старого пруда в парке и оттуда зашагали в порт Роомассааре.

По дороге к пруду я встретил Лейно. Он шел мне навстречу с маминой сумкой, полной разных пакетиков. Должно быть, стоял в очередях за продуктами. Я сказал ему, что ухожу совсем. Лейно грустно заморгал, потом достал бумажный мешочек с сахаром и дал мне немножко полизать сахару. Я пошел дальше, а он долго смотрел мне вслед, и уже издали я крикнул ему, чтобы он помогал маме и хорошо смотрел за Кадри, точно так же, как отец — мне, когда уезжал на фронт. Лейно остается теперь единственным мужчиной в доме. Я просил его, чтобы он ничего не говорил маме. И знаю, он не скажет, он не такой. Но от Свена и Альберта он, конечно, не станет скрывать, и тогда все узнают, что мы с Велло уехали.

На этот раз не поймают, не вернут. Скоро придет баржа и доставит нас на один из стоявших на рейде огромных кораблей. До этого еще по нескольку слов о моих друзьях.

Велло шестнадцать лет. Он очень сильный, здорово бегает и плавает, как дельфин. Он, конечно, не такой образованный, как Эндл, но хороший товарищ, смелый, решительный. У него остаются дома мама, брат, бабушка и целая орава теток. Он мой давний друг, мечтает о приключениях и тоже обожает книги про Шерлока Холмса и Пинкертона.

Эндл. Этого длинного, худого типа привел Велло и сказал, что он нам необходим. Он совсем не умеет плавать и боится воды, как черт ладана, и бегать тоже не умеет. Но он говорит по-немецки и имеет кое-какие понятия о географии, а нам это очень нужно. Особого интереса к приключениям я у него не заметил, и что его гонит на чужбину, не понимаю. К тому же он труслив, даже яблоки боится красть. И, видно, маменькин сынок: вечно говорит о своей маме.

В Германию мы едем для того, чтобы оттуда двинуться в Австрию. Там перейдем Альпы и — в Швейцарию. Из Швейцарии — в Африку, а оттуда в Америку. Куда дальше, еще не знаем, там видно будет. А пока прощай Саарема — остров мой родной. И ты, мама, прощай. Еще увидимся.

■

Садоводством я интересуюсь только осенью, когда созревают яблоки и другие фрукты. Все остальное, что связано с этим, не очень меня занимает. И все-таки мне и Велло сейчас приходится заниматься именно «остальным», то есть рыться в земле и возиться с тачками. Глупая история! Ведь не для того же я тонул в море, чтобы сделаться паршивым навозным жуком. Что-то мне наши дорогие союзники не нравятся: где это видно — я, сын эстонского легионера, который сражается за новую Европу и свободу Эстонии на Восточном фронте, должен рыться в земле, как последний раб, у какого-то противного желтоглазого немца?! Где же справедливость?! Но он еще не знает, с кем имеет дело, этот желтоглазый индюк, возомнивший себя великим плантатором. Мы еще зададим ему!

Вместе с моими ногами на территорию Германии ступили еще ноги Велло. Длинные же ноги Эндла остались на родине вместе с ним.

Еще на рейде, на палубе огромного океанского парохода с нашим образованным другом стало твориться что-то непонятное: он вдруг стал кружить по палубе, словно одержимый. Мы с Велло, любуясь морем, посматривая на родной город, сначала не обращали на это внимания, думали — он просто гуляет. Но прогулка эта не прекращалась и стала казаться подозрительной. Стемнело. В городе, в порту и на корабле зажглись огни. А он все бегал. Мы подумали — не сошел ли он с ума? Но нет, он просто струсил. Попав на палубу парохода, сообразил, что это вовсе не шутка, что пароход уплывает и увезет его черт знает куда. Быть может, налетят самолеты и параход потопят, а он не умеет плавать и тогда, бедняга, никогда больше не увидит маму. Он был в отчаянии, а мы не знали, что с ним делать.

Всех нас выручила его мама, каким-то образом узнавшая о намерении любимого сыночка и вовремя прибывшая в порт разыскивать его. К пароходу прислали катер, и нашего друга сняли. Он ушел, не попрощавшись с нами, и, видимо, здорово был рад, что так легко отделался. И мы тоже, хотя потеряли единственного знатока немецкого языка, остались довольны. Спуститься на катер он должен был по шторм-трапу, или попросту по веревочной лестнице. Это было нелегко — пароход сильно качало в темноте. Он вылез за борт, немного спустился и, судорожно вцепившись в лестницу, остановился. Никакие уговоры не помогли. Тогда к нему с катера поднялся матрос и потащил его, скулящего, вниз. Я не уважаю трусливых людей, как бы образованны они ни были.

Становилось холодно. Немного потолкавшись среди пассажиров, мы спустились в общую каюту, или попросту в трюм, и завалились спать. Я долго не мог уснуть, вспоминались мать, Лейно, Кадри и... отец тоже. Утром рано снялись с якоря, а затем взорвались.

Это была какая-то бродячая мина. По-видимому, наша, то есть немецкая. Пароход наехал на нее и взорвался. Я и Велло в это время весьма уютно устроились на металлических сетках, словно на качелях, наблюдали за всем вокруг и мечтали о том, как примерно через двадцать лет вернемся на родину, конечно, на своей яхте, богатые, изъездив весь мир, пережив уйму замечательных приключений. По палубе сновали пассажиры — военные, гражданские, взрослые и дети; около грузовых машин, что рядами стояли на палубе, копошились шоферы; матрос-немец наигрывал на аккордеоне какую-то чувствительную мелодию. Спереди и сзади нашего парохода ровной линией шли корабли — все было совершенно нормально. Но вдруг автомобиль поднялся на дыбы, и я увидел в воздухе людей вверх ногами... Тут же заметил, что и сам нахожусь в воздухе, и тогда раздался страшный грохот.

Через мгновенье я очутился под водой. Вынырнув, сообразил, что от тонущего корабля надо держаться подальше (так учил еще капитан Андрес с Рухну), и изо всех сил поплыл в сторону от него. А когда обернулся, чтобы взглянуть на пароход, его уже не было. В море были видны барахтающиеся люди и много всякого хлама — ящиков, досок, даже какая-то собака скулила где-то в волнах. Вдали стояли корабли. Увидев шлюпки, подбирающие утопающих, я стал кричать. Меня заметили и подобрали. На корабле, куда доставляли спасенных, я встретил Велло. Мы были мокрые, дрожали от холода, но нам вовсе не было страшно. В большой каюте на горячих трубах высушили одежду и записные книжки, получившие вместе с нами морское крещение.

В Данциг прибыли рано утром. Все пассажиры, помилованные богом, собрались на палубе и приветствовали Германию. Они пели: «Deutschland, Deutschland über alles!» — «Германия, Германия превыше всего!» Мы тоже пели, как умели. В порту, в длинном сером здании, всем приезжим выдали продовольственные карточки и произвели обмен оккупационных марок на рейхсмарки.

В Аугсбург мы приехали с пустыми карманами и желудками. На двоих знали по-немецки три слова: их вайс нихт (я не знаю). И совершенно не представляли, куда податься. Поэтому околачивались на вокзале. Вечерами промышляли в садах, а спали в зале ожидания. Но в Аугсбург мы приехали не отсыпаться: отсюда мы должны начать штурм Альп, перелезть через них и очутиться в Швейцарии. Перейти Альпы, питаясь лишь яблоками, разумеется, невозможно. Мы решили что-то где-то раздобыть.

Однажды, когда, толкаясь среди пассажиров, я высматривал, нельзя ли что-нибудь приобрести, ко мне подошли два человека в серо-зеленых шинелях и что-то у меня спросили по-немецки. Я, разумеется, сказал: «Их вайс нихт». Это, по-видимому, не удовлетворило их, они взяли меня за руки и повели. В пути нам встретился Велло, он пошел за мной. Нас привели в полицию, проверили наши документы, задавая бесчисленные вопросы, на которые мы однообразно отвечали «их вайс нихт». Кое-как выяснили, кто мы такие. Затем повели в другое заведение и там продали в рабство этому желтоглазому плантатору.

Заведение, где нас продали, называется «Арбайтсамт». Нас привели в зал, где за маленькими столиками выстукивали на машинках раскрашенные девицы, посадили на скамью и при помощи мимики, как глухонемым, объяснили, чтобы мы сидели и ждали. Просидели мы на этой дурацкой скамье битых два часа, потом в зал стали заходить разные господа. Они рассматривали нас, выясняли возраст и совещались о чем-то с толстым человеком, который подводил их к нам. Потом они ушли, а толстый человек позвонил куда-то по телефону и, посматривая на нас, долго о чем-то говорил. А потом пришли другие господа и опять нам задавали разные вопросы, и опять мы говорили: «Их вайс нихт».

Одним за большой рост и явную силу нравился Велло; другим, неизвестно за что, — я. Мы же решили не расставаться и соглашались продаваться лишь оптом.

Пришел военный, офицер, пожелавший приобрести меня; господин с брюшком захотел Велло; худюсенькая черная дама пожелала меня, другая захотела Велло; и потом ряд покупателей, но все хотели приобрести Велло, а я никому не был нужен. Наконец к вечеру, когда мы всем надоели бесконечными «их вайс нихт», основательно проголодались и устали сами, пришел господин с рыжей бородкой и желтыми глазами. Он, не торгуясь, забрал нас обоих. Нам было все равно, хоть к черту в зубы. Господин живет на окраине города, он садовник. Мы единственные рабы этого «плантатора». Остальные ребята — семеро поляков, трое не то русские, не то украинцы и два азиата — работают здесь уже давно. Как они сюда попали, не знаю.

С утра до вечера работаем в садах. Распорядок дня таков: утром, в шесть часов, встаем, умываемся, завтракаем — хлеб, кусочек сыра, черный кофе. Потом получаем инструменты и работу; потом труд до вечера; потом полоскаем наши морды, поедим «гемюзе» (овощи) и ложимся спать. Так было до нас и, вероятно, будет после нас.

Ах, как хочется что-нибудь погрызть, хоть черненьких сухариков... Сидим в зале ожидания на вокзале. Вокруг на столах лежит еда, от звона ложек, от чавканья жующих вокруг людей моему желудку делается больно. Напротив меня сидит Велло. Мы два дня ничего не ели. Яблок в садах уже нет, милостыню просить мы не хотим, да и вряд ли кто даст. От садовника мы сбежали. Иначе и быть не могло. Вместе с нами ушли и остальные ребята, только они пошли куда-то на север. Перед уходом всей оравой нагрянули в кладовую «плантатора» и опустошили ее. Утром я и Велло бодро шагали по тропинке, рядом с весело плещущимся о берег Дунаем, к Альпам. В наших мешках было много вкусных вещей, животы были набиты до отказа, и настроение, следовательно, было хорошее. Впереди синели горы, и мы прикидывали, за сколько времени доберемся до них. Ночевали в кустах, завернувшись в одно одеяло. Прошагав так два дня, заблудились, стали искать проход через буреломы и трясины. Блуждали неделю, но никакого прохода не нашли. Ободранные, усталые и злые вернулись кое-как в Аугсбург, так и не побывав в горах...

Мы, конечно, не вернулись к садовнику и продаваться в «Арбайтсамт» тоже не пошли. Ночью на товарняке выехали в Берлин, оттуда под вагонами — грязные, голодные — добрались до Данцига. Честно говоря, мы приехали сюда, чтобы любыми путями уехать домой. Только уехать мы не можем. Порт окружен колючей проволокой и охраняется так, что не проскользнет даже мышь. Бродили мы вокруг порта, словно голодные собаки, и, убедившись, что уехать обратно невозможно, засели на вокзале, чтобы подумать о том, как жить дальше.

■

Находимся в лагере беженцев. Но завтра отсюда куда-то уедем. Куда — не знаем. Встретил здесь знакомую семью из Тори, семью капитана Мальгарда, с дочерью которого, Вииве, не раз дрались. Только сейчас мне почему-то кажется, что она вообще-то ничего. Стоим с ней в очередях за супом, за хлебом, и она говорит, что они, Мальгарды, приехали сюда на всякий случай, русских на острове еще нет.

Мы с Велло вступили добровольцами в армию — в луфтваффе. Завербовались. Это вспомогательные части авиации. Отсюда нас куда-то повезут, там получим красивые серые мундиры, оружие, научат воевать, возможно, будем летать. Всех нас отсюда поедет тридцать человек. Остальные ребята почти такая же мелюзга, как мы, но есть и старики — за двадцать лет. Кто знает, может, это и есть маленькое начало большого дела? Мне немного грустно, что скоро придется расстаться с Вииве.

■

Прошел месяц с тех пор, как я приехал в лагерь луфтваффе. Не стану описывать, как нас, группу голодранцев, вывели из готенхафенского лагеря беженцев, привели на вокзал и посадили в вагон. Перед тем нам выдали по буханке хлеба и мясные консервы. Мы их сразу же съели, так что в Эгерь прибыли голодными, как волки. Эгерь — городишко в Чехословакии. Приехали ночью. Построившись в колонну, шли по пустым темным улицам города. Потом вышли за город, еще километра четыре по шоссе. Из полосатой будки у ворот вышел вооруженный солдат, пересчитал нас и пропустил на территорию спящего лагеря. Нас привели в пустой барак

и сказали, что это есть блок и что в нем мы должны дожидаться утра. Мы завопили, что голодные, на это никто не обратил внимания. Но когда стали ложиться спать, два маленьких солдата принесли большой деревянный ушат вареной в мундире картошки и сказали, что это «абендэссен». Мы дружно, словно поросята, зачавкали. Затем разместились на полу и уснули крепким солдатским сном. Утром нас повели в баню, потом в столовую, где выдали ложки и котелки. Столовая — большой блок с вывеской: «Столовая № 6». За столовой — склад, где после завтрака нам начали выдавать мундиры. Полетели наши гражданские тряпки, и нате вам брюки, френчи, фуражки, сапоги... Здесь обнаружилось, что для моей персоны мундира нет. Мундиры вообще были, но в каждый из них можно было вместить двух таких, как я. Пришлось смириться — меньшего не нашли. Сапоги тоже достались огромные, зато такие крепкие, что, думаю, они дождутся того времени, когда будут впору. Засучив штаны, я обулся, затем стал размышлять, что делать с рукавами, и в это время завыла сирена.

Вой сирены — явление обычное, было бы удивительно, если бы хоть один день прошел без него. Нас погнали к воротам, через них совершенно спокойно выходил, колонна за колонной, весь лагерь. Зрелище мы представляли, вероятно, комичное — ремней мы не успели получить, и встретили нас взрывом безудержного смеха. Дальше нас погнали в поле, причем неизвестно зачем то и дело заставляли ложиться где попало, вскакивать, бежать и снова ложиться. И так без конца. Самолеты гудели в невидимой высоте, и до нас им не было никакого дела. А нас все гоняли и гоняли... Очевидно, это делалось для того, чтобы запачкать наши новенькие мундиры. Не понимая команды на немецком языке, я вел себя настоящим ослом: когда приказывали ложиться — бежал, и наоборот, когда нужно было бежать — падал. За это на мою голову посыпались проклятия, но я их, к счастью, не понимал тоже. И еще пинки в казенную часть, которые я, к сожалению ощущал. Но еще большие мучения ждали нас в лагере, когда после тревоги и чистки мундиров мы построились на проверку. Мы очень спешили и, конечно, плохо почистили мундиры. И снова нас гоняли, теперь вокруг блоков, заставляя бегать и падать. А потом опять чистили мундиры, а потом опять бегали и падали, и так бесконечно. Когда, наконец, вечером я добрался до постели, моей последней мыслью было: чертовски нелегко быть военным.

Тяжелая служба. Ну, а как же иначе! Разве может солдатская служба быть легкой? С этим надо мириться. Только вот с харчами плоховато, и мы крадем потихоньку, где что можем. Занятия пока несложные: маршируем, бегаем, падаем. С Велло меня разлучили. Его, как старшего, определили в другую группу, а я попал к маленьким. Тоже мне, определили... В моей группе сорок человек — все эстонцы. Вообще здесь всех распределяют по национальностям, а сколько их тут — не берусь сказать. Есть киргизы и монголы, узбеки и татары, латыши, литовцы и еще много ребят, о которых я не знаю, кто они.

Но что интересно — есть русские. Говорят, их угнали из России, а потом, чтобы не умереть с голоду, они согласились поступить в луфтваффе. Неужели они будут воевать против своих? Есть еще бельгийцы и голландцы и, наконец, финны и эстонцы. Все мы живем недружной семьей: деремся. Драки знатные! Когда дерутся латыши с литовцами или там кто еще, эстонцы не вмешиваются. Но если кто дерется с финнами — эстонцы идут на помощь финнам. И наоборот. Там примажутся другие национальности, и драка превращается в кровавую бойню. Начальство в эти драки вмеши-

вается лишь потом, наказывая наиболее пострадавших. Рождаются драки обычно в кантине (пивной) и кончаются в ревире (больнице), но бывает, что и в морге.

Ходим в город, в кино или просто гулять. В город идем всей группой, построившись, с песнями. Перед тем нам выдают билеты на киносеанс и какие-то непонятные беленькие резиновые кружочки. Зачем они, мы не знаем, но если их надуть, получаются шарики, а когда их раздавишь, раздается выстрел, как из настоящей винтовки. Обычно нас ведут сразу в какой-нибудь кинотеатр, а после сеанса каждый может идти куда хочет — до двенадцати ночи.

Около кинотеатра всегда стоят размалеванные женщины всех возрастов, они, как акулы на мелких рыбешек, набрасываются на наш строй, бесцеремонно выбирая себе кавалеров среди маленьких мужчин. Фильмы показывают любовные или военные, про Восточный фронт, военнопленных и так далее.

Веселье весельем, но что нас не вооружают, это свинство. Иногда показывают винтовку, говорят, что это винтовка, и объясняют, как с ней обращаться. К черту! И без того всем известно, что винтовка — не ложка, что из нее стреляют. Однажды я, как сумел, поставил вопрос ребром, то есть спросил у унтера, почему нам не дают винтовок. Он заржал, как мерин.

— Пуф, пуф — унд русиш капут... — сказал и что-то там еще лопотал. Один парень перевел, что он советует мне сначала перерасти эту винтовку. Осел! Я уверен, что сумею воевать не хуже него. Еще неизвестно, кто из нас на что способен. Я, как-никак, сын эстонского легионера!

■

Эгерь.

Настало время, когда нас вооружили и повели воевать. Противник наш — судетская глина, оружие — лопаты. Веселье кончилось.

Целый день роем окопы, делаем повороты — линкс, рехтс, бегаем, как ошалелые, ползаем, как змеи, а в результате выглядим, как свиньи. Чистыми бываем только во время проверок. И голодные к тому же, как волки. Это днем. А ночью по нескольку раз бегаем от налетов за пять километров в поле, причем таскаем на себе весь хлам, именуемый «солдатской аммуницией», и, между прочим, лопаты...

По каким-то соображениям меня перевели в санитарную группу лагеря. Это очень хорошо. Члены этой группы пользуются кое-какими привилегиями, живут чисто, и, что главное, их не мучают маршировкой, не говоря уже о том, что они не роют окопы и траншеи. Зато их мучают другим: они должны безупречно вскидывать руку и орать: «Хайль Гитлер!» Это репетируется повседневно, потому что члены санитарной группы патрулируют в городе, где разгуливает всякое пузатое начальство.

Наши обязанности: дежурство в лагере, в городе и забота о том, чтобы не умереть с голоду. Санитарный патруль состоит из двух человек с металлическими складными носилками, на рукавах мы носим белые повязки с красным крестом. Дежурная смена работает по восемь часов. Иногда бывают уроки, учимся делать повязки, укладывать раненого на носилки и так далее. Когда выпадают городские дежурства, идем к бауэрам, проживающим вблизи города, и работаем за харчи. Пока нам нечего было бояться. Эгерь не бомбили, хотя вражеские самолеты, поднимая панику в лагере и в городе, с утра до ночи летали высоко в небе. Эгерь не бомбили, по-

тому, что в нем не было ничего привлекательного для врагов, ведь аэродромы находятся за городом. Мы знали что ни иваны, ни томми, ни янки нам ничего плохого не сделают.

Но однажды, когда я и мой напарник Риз шли в город на дежурство, завыли сирены. Самолеты, почти невидимые, полезли по небосклону. Было ясно, что они, как всегда, летят дальше на север — на Берлин. Вот уже их не видно, еще чуть-чуть слышны, вот и отбой. Люди вышли из убежищ и разошлись по домам. Мы тоже, волоча надоевшие носилки, поплелись на поиски развлечений.

Вдруг, непонятно как и откуда, снова появились самолеты. Даже не могу сказать, что появилось раньше: бомбы или самолеты. Не было тревоги. Внезапно взрывы, грохот, шум, крики обезумевших от страха, бегущих в панике людей. Одна старенькая женщина с целой оравой малышей бежала, таща их, орущих, за собой. Они спотыкались, не успевали за ней, и она была в отчаянии. Риз, мгновенно разобрав носилки, стал укладывать на них двух самых маленьких. Мы помогли семейству добраться до убежища, но войти в него было невозможно. У входа, давя друг друга, беспорядочно толкались сотни людей. Вокруг гремело и визжало; с опозданием завыли сирены, нагоняя жуть; горели дома, деревья и даже асфальт. Город был в дыму. Самолеты не были видны, бомбы сыпались, словно дождь с неба. Когда, наконец, удалось войти в убежище, мы занесли детей, а сами поднялись обратно: ведь такое не увидишь каждый день! У входа стояли пожарники и полицейские, не выпуская никого, принимая опоздавших. Запыхавшись, пробежал сухопарый немец, офицер. Он был очень бледен и, мне показалось, дрожал. Заметив нас, он стремительно подскочил и, схватив меня за рукав, что-то объясняя, потащил за собой. Мы пустились бежать за ним по горящим улицам города. Иногда, когда слышался зловещий визг, бросались на землю и снова бежали. Повсюду валялись люди, и нельзя было понять, живые или мертвые.

Наконец забежали во двор полуразвалившегося дома. Прямо во дворе, на подстеленной шинели, увидели белокурую женщину. Лицо ее было в крови и измазано сажей, она тихо стонала. Положили ее осторожно на носилки и пошли обратно.

Страшен был этот путь. Кругом грохот, жарко от горящих домов. Мы, пригибаясь, двигались к убежищу. Остались лишь одна улица и один поворот, когда на нас с грохотом повалилась стена. Я упал и тотчас же услышал страшный крик. Поднявшись, увидел: Риз лежит на ногах у женщины. Оба были неподвижны — он мертв, она в обмороке. Возле, остолбенев, стоял немец. Здесь же валялась большая цементная глыба, убившая Риза, сломавшая ноги женщине. Освободив носилки от тела Риза, мы с немцем донесли его даму до убежища, где ее приняли врачи. Я остался в убежище до конца налета.

На другой день нас снова направили в город, на сей раз подбирать мертвых. Это была исключительно мерзкая работа. Трупы были страшные, порой на носилках несли лишь кучу рук и ног. Мертвых было, пожалуй, больше, чем раненых. Они были везде: в развалинах, в огородах, плавали в реке Эгере. Работали до вечера. Устаю очень, спать стал мертвым сном, тяжело. Да, теперь не до проказ — идет война.

Кормят нас лучше, но я этого почти не замечаю. Как-то, когда я обедал в столовой, ко мне подошел пожилой офицер и спросил, сколько мне лет. Он показался мне добрым, и я сказал правду. И угадал. Он покачал

головой, вынул из кармана офицерские талоны на питание, протянул мне и, не оглядываясь, ушел.

Дней десять работали на развалинах, извлекая полусгнившие трупы и всякую всячину. Мне кажется, провонялся я мертвечиной.

■

Лагерь в Эгере растащили по всем частям света. Уехал куда-то Велло. Санитарная группа вместе с другими частями авиации прибыла в порт, носивший в честь маршала Роммеля его имя. Поездка сюда, в телячьих вагонах, была нудной и голодной. Воровали, что могли. Я подружился с бельгийцем, с которым в Эгере таскал умирающих и мертвых. Он там, оказывается, не дремал и успешно снимал часы и кольца с мертвых, а теперь все это обменивал на съедобное. Конечно, брать у мертвого не совсем хорошо, но если разобраться — мертвому часы ни к чему, а живому есть надо. Его зовут Ральф, ему пятнадцать лет. В люфтваффе он вступил тоже добровольно: искал приключений.

Опять живем в лагере, окруженном колючей проволокой, только не в блоках, а в палатках. Вокруг песок и песок, жаркий ветер днем и холода ночью, а ещё голод и жажда. Воду для мытья привозят с моря, пресную дают по норме, она здесь очень дорога. На обед дают две картофелины, суп из ботвы и воды, хлеба — четыреста грамм на день. Как и в Эгере, роем окопы. Только теперь противник наш не глина, а камень или твердая, как камень, земля. Санитарная группа тоже роет — будь она проклята! Были отсюда побеги, но беглецов привели обратно, избили и загнали в штрафную группу.

Жить становится все труднее, просто невозможно терпеть. Неизвестно откуда нагрянула на нас какая-то эпидемия. Сначала по одному, по двое заболели ребята, а теперь умирают, как мухи зимой. Как уберечься, никто не знает. Что можно есть, чего нельзя — тоже не знаем. Понос. Люди чернеют, потом лежат, лежат и умирают. Несмотря на заразу, всех, кто стоит на ногах, выгоняют рыть окопы. Санитарная группа теперь роет могилы. Недавно я закопал своего партнера, Ральфа. С каждым днем работы для нас становится все больше, а нас — все меньше. Может, скоро и меня зароют. Живем, будто на чужой планете. Писем никто не получает, книг никаких нет и читать их, собственно, некогда. Над нами опять летают самолеты, бомбят порт, рейд и укрепления, которые мы строим. Мне очень хочется бежать, но я понимаю безнадежность этой затеи.

Когда ходим рыть ямы, берем с собой котелки и кипятим в них морскую воду, кладем в нее неизвестную мне очень душистую траву. Получается солоновато-кислая жидкость.

Из начальства в лагерь заходят лишь унтеры, выгонять нас на работу. Но скоро им некого будет выгонять: больше половины или умерли или умирают, да и симулянтов наберется немало. В палатках грязь, вши, вонь, многие больные делают под себя. За ними ухаживаем мы. Изредка бывают фельдшера, дают бесполезную микстуру, сыплют хлорку в отхожие места. Питание стало лучше; консервы, сыр, даже молоко консервированное. Не помогает. Наверное, бог нас за грехи карает... Вот Ральф обкрадывал мертвых — и я его зарыл.

Ну это, конечно, несерьезно. Тогда и меня настигла бы кара: еще в Куресааре в церкви я сбросил с хоров бутерброд попу на лысину, а он, как-никак, первый богов чиновник.

Ем я теперь досыта, потому что помогаю больным умереть: пеленаю их, пою водой, отгоняю мух, и мне достаются их порции. Вот и все приключения пока что...

■

Лежу в госпитале в городе Мариенбурге. Не знаю точно, где это, но, кажется, где-то в Польше, хотя ничего польского теперь здесь не видно. Чтобы выехать из Роммельгафена, пришлось немного схитрить. Чтобы скорее закончить строительство укреплений, привели партию свеженьких кандидатов на тот свет, так как из старых уже добрая половина сдохла, а остальные собирались подыхать и работать было уже почти некому. Прежде чем впустить свеженьких в нашу цитадель поноса, приехала врачебная комиссия и начала выявлять больных и симулянтов. Больных сразу же вынесли из лагеря, погрузили на машины и вывезли из порта.

Мне пришла мысль лечь на носилки самому. По внешнему виду больные и здоровые мало отличались друг от друга, и поэтому врач, руководивший погрузкой больных, взглянув на мою искривленную физиономию, приказал поднять меня на машину.

Я лежал ни жив ни мертв и впервые пожалел, что непочтительно относился к попу в церкви — бутербродом кидался. Но бутерброд не камень, и бог не злопамятен... Я счастливо доехал с больными до Мариенбурга. Следуя моему примеру, приехали сюда еще два парня.

■

Что такое Куксен? Куксен — это небольшая деревня где-то недалеко от Мариенбурга. Здесь в старом двухэтажном каменном доме организовали что-то наподобие школы-интерната, в которой живем и занимаемся мы — гитлерюгенд.

На нас надели черные мундиры, выдали кортики и белые повязки с черной свастикой. У нас два руководителя, одного из них мы обязаны величать «господин директор». Фамилия его — Кройц [1], и для нас он истинный крест: маленький, черный, худой, язва!

Два раза в неделю бывают особые занятия, их проводит человек, приезжающий из Мариенбурга. На этих занятиях надо уметь подставлять противнику ногу, крутить его так, чтобы он взвыл; надо уметь неожиданно сбивать противника с ног, схватить его за горло мертвой хваткой; не поворачивая головы, видеть, что творится за твоей спиной; ходить неслышно, как кошка, и еще много всякого другого.

Нам показывают картины, на них изображены толпы людей. Мы должны на них мельком посмотреть и быстро объяснить увиденное: какие люди выделяются и т. д. Иногда нас водят в Мариенбург, там много магазинов, витрины заклеены бумажными крестами. На витринах выставлены товары, но мы видим не их.

«Когда идешь по улице, посмотри в витрины, в них, как в зеркалах, отражается все, что происходит вокруг...»

Мы обязаны видеть не то, что выставлено в витринах, а то, что отражается в стеклах. Из любого района города мы должны находить самый короткий путь до центра, не имея ни плана, ни карты. И должны определять наугад, сколько в каком доме приблизительно жителей. Чего мы только не должны знать и уметь...

---

[1] Крест (нем.).

Нам вся эта германизация надоела. Часто появляются нарисованные кем-то карикатуры на наших учителей и листовки с призывом: «Да здравствуют Англия и Америка! Смерть немецким оккупантам!»

А вообще скучно.

Встретили Новый год, а затем задали, как мне кажется, стрекача от приближающегося Восточного фронта. Правда, нам часто говорят про наступление наших на Восточном фронте, но я не могу понять, для чего, наступая, отступать. Нас эвакуировали в маленькое курортное местечко — Остзее бад Даме. Ехали мы как гангстеры: порой я на ком-то сидел, порой стоял на одной ноге и, когда она уставала, повисал на ком попало, порой кто-то сидел на мне, а если у пассажиров из гражданских было что-нибудь съедобное — мы это съедали. И так всю дорогу. Поезда часто останавливались из-за самолетов, конечно, не немецких. Но в Остзее бад Даме мы все же прибыли и поселились в Вилла-Биркенхейм, в совершенно приличном заведении (до нашего вторжения). Имеются в нем и пуховые перины, так что по этой части все хорошо. Но насчет «уголовных» методов здесь плохо: директория нас хорошо знает, а местное население быстро сообразило, что к чему... Приходится подтягивать ремни, благо в них дыр хватает.

Однако роль гитлерюгенда нам уже порядком надоела. Особенно мне и двум моим товарищам. Мы решили от нее избавиться. Наш план таков: ночью удрать из Биркенхейма и идти на Фленсбург. Это большой портовый город километрах в шести от датской границы, которую мы намереваемся перейти, ибо в Дании, по нашим соображениям, текут молочные реки, а хлеб растет булками на деревьях.

Если мир не без добрых людей, то и подлецов в нем немало. Нашелся человек, который, узнав о нашем замысле, сообщил об этом господину Кройцу. Директор нас всех троих арестовал, раздел догола и запер в карцер. У двери поставили вооруженного пожарной трубой часового.

Как мы, три голых мушкетера, провели ночь — говорить не стану. Что нам было холодно, ясно и без объяснений. Бегая взад-вперед, мы усиленно придумывали, как спастись. И ведь недаром говорят, что одна голова хорошо, а две — еще лучше. В нашем же распоряжении были три мудрые головы.

В камеру заглянула какая-то любознательная крыса, мы все трое ее заметили. Крыса, удовлетворив свою крысиную любознательность, убежала. Но в одной из мудрых голов зародилась воистину «крысиная» идея... В этой голове возникло соображение, что мы могли бы прогрызть... да хотя бы потолок. Идея была провозглашена и разработана. Был найден гвоздь; затем один из нас, встав на плечи другого, начал им откусывать щепку за щепкой от досок потолка, вгрызаясь все глубже и глубже. Работали, меняясь, нельзя сказать, что быстро, но не сомневаясь в успехе. Только как мы не спешили, настало утро, а дыра все не была готова. Перед завтраком мы прибрали в камере и собрались у двери, чтобы не дать возможности обозреть потолок. Товарищи, принесшие завтрак, сообщили, что вся группа собирается к морю (чем-то заниматься) и остается лишь наша охрана, а она не имеет ничего против нашего ухода, если мы сможем уйти не через дверь. Мы продолжали лихорадочно работать, и скоро посыпались опилки, песок и

всякая дрянь, а когда осела пыль, мы увидели в потолке дыру, через которую могла бы пролезть корова.

Скоро мы были на чердаке, откуда, высунув языки, на цыпочках спустились в помещение директории, где в поисках одежды взломали (сверх потребности) все шкафы и перевернули вверх ногами сундуки. А к ночи мы были уже далеко от Биркенхейма.

Опасаясь жандармерии и бродящих по всем дорогам патрулей, мы двигаемся ночью, отдыхая днем.

Питаемся кроликами, которых промышляем ночами, мимоходом, и пищи этой, слава богу, хватает, благо немцы кроликов развели много. Иногда у более крупных бауэров останавливаемся на несколько дней, чтобы накопить жиру. Поселившись где-нибудь на чердаке, по ночам доим хозяйских коров, угощаемся в кладовых и не забываем заводить приятельские отношения с курами.

Недалеко у одного такого бауэра нас случайно обнаружили польские военнопленные. Они предупредили, что вокруг идут повальные обыски — ищут дезертиров, и советовали нам смыться. Еще показали они листовку, сброшенную русским самолетом, прочитать ее мы не смогли, но поляки объяснили, что она разъясняет истинное положение Германии и призывает население восстать против обреченного гитлеровского режима, спасать культурные ценности и т. д. Ну, в этом мы мало разбирались, а намотали себе на ус лишь то, что нам полезно убираться, пока не поздно.

■

Мы пришли на небольшую железнодорожную станцию, где стоял воинский эшелон. В одном из пустых вагонов я увидел мешок с подозрительными выпуклостями. Я всем своим нутром почувствовал, что это хлеб. А мы — о боже! — сколько уже времени мы не ели хлеба! Я решил добыть хлеб. Ничего не сказав товарищам, отдал им свой рюкзак, попросил подождать и вернулся к вагону. Вокруг на перроне прохаживались солдаты, но все как будто были заняты самими собой. Убедившись, что за мной никто не следит, я осторожно просунул голову в вагон. В нем, растянувшись на нарах, спали несколько солдат. Я скользнул внутрь, тихонько подошел к мешку и развязал его. Он был полон симпатичных сереньких булок. Я уже протянул к ним руку, когда один из спящих вскочил и прыгнул на меня. Не успел я опомниться, как на мне сидели три дюжих немца. Беда возросла еще оттого, что в этот момент паровоз дал гудок и в вагон стали залезать другие. Паровоз еще прогудел, дернул, и поезд пошел.

Чувствовал я себя очень скверно и думал: можно было, пожалуй, обойтись и без хлеба... Но, увы, немцы моих чувств не разгадали. Они затараторили о чем-то все сразу и так быстро, что мои познания в немецком языке оказались ничтожными. Потом они меня завертели, закрутили, и наконец я догадался, что мне приказывают раздеваться. Это было крайне нежелательно, однако внушительные тумаки не позволили долго раздумывать. Я разделся. Оставили на мне лишь кальсоны. Дальше последовала кара. Тумаками меня загнали под нары. Я был этим почти доволен и подумал было там устроиться, но тут меня схватили за ноги и вытащили. Затем в таком же порядке я должен был вскочить на верхние нары, с них соскочить и снова залезть под нары, и пошло, и пошло...

Я словно белка вскакивал на нары, с нар — под нары, из-под нар — на нары и опять под нары, и все быстрее («Шнеллер, шнеллер!»), быстрее, быстрее и все под градом свирепых тумаков. С меня ручьями тек пот, я за-

дыхался. Тогда окончательно загнали меня под нары и оставили в покое. Скоро солдаты занялись своими делами и обо мне, казалось, забыли. А поезд все шел и шел, увозя меня черт знает куда.

Трудно сказать, сколько я уже провалялся под нарами, когда поезд, загрохотав, остановился. Солдаты вскочили и высунулись сперва в дверь по правой стороне, а потом по левой, и там что-то привлекло их внимание. На дверь по правой стороне никто не смотрел, и я тихонько выскользнул из вагона. Поезд стоял в поле. Вдали был виден лес, но добежать до него я не успел бы. В вагоне зашумели. Решив, что хватились меня, я нырнул под поезд и стал пробираться к паровозу. Забравшись на тендер паровоза, мигом зарылся в уголь и лежал тихо, как мышь. Кто-то поднялся на тендер, спустился, и наконец, загремев буферами, поезд пошел дальше.

Я вылез из угля. Что делать дальше? Куда деваться в таком наряде? Грязный, как дьявол... Пошел дождь, стало холодно. Вдруг послышался чей-то смех, и насмешливый голос произнес: «Э-е! Ду, нигер, вас махст ду хиер?» [1]. Я увидел у открытой двери кочегарки две черные рожи, с удивлением и смехом глядевшие на меня. «У ну, клейнес тойфель, марш р-райн!» [2] — скомандовал один из них, и я поспешно забрался в кочегарку. Греясь у топки, грызя хлеб с рыбой, я рассказал им свою историю, а ночью они укрыли мои ребра старой брезентовой курткой и, замедлив ход поезда, помогли сойти. Промелькнул последний вагон, и я зашагал к поселку.

Войти в село я побоялся. Утром, подкараулив, как из одного дома ушли хозяева, заглянул к ним в гости и навел там порядок по своему усмотрению. Подобрал себе одежду по вкусу, поел творога со сметаной и пошел во Фленсбург.

■

ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ
ГОД 1945

Встретил своих друзей из Остзее бад. Они тоже, наконец, добрались до Фленсбурга.

Начинаем потихоньку привыкать к мирному времени, но это нелегко: грохот танков все еще продолжается. Танки все прибывают и прибывают, уже весь город запружен ими. Говорят, что их готовят против русских. Немцы на эти танки озираются так, словно они и не воевали с русскими, словно сочувствуют им. И не дай бог сказать какому-нибудь фрицу, что скоро будет «нойес криг», — он тебя убьет.

Живу теперь у Психа и его компании.

Из тюрьмы освободился человек, которого в городе хорошо знает и боится определенная категория людей. Величают его Псих, хотя, он, конечно, совершенно здоров. Его друзья — Обезьяна, Человек во мраке и Хвост — готовы и днем и ночью исполнить любое из его повелений. Псих — король ночных дельцов, не самых крупных, в порыве злости он способен, чего доброго, убить. Меня они прозвали «Лисенок». Я с ними очень подружился. Это уже почти то, о чем я читал в книжках. Только Психу не нравится, что я записываю свою жизнь. Он мне категорически запретил писать о некоторых подробностях. Но он зря беспокоится — я и сам не дурак.

---

[1] Эй, негр, что ты тут делаешь?

[2] А ну, чертенок, входи!

Еще познакомился я с человеком, который тоже пользуется в ночном мире большим авторитетом, хотя имеет вполне приличное положение и в дневном. Это Чухкади, по прозвищу Жирный. Он безусловно жирный, но и мудрый. Чухкади — босс. Босс даже для таких, как Псих. Чухкади спекулянт, но сказать так при нем по меньшей мере неблагоразумно: он «предприниматель». У него в городе свой дом, и, если верить слухам, не один. Разъезжает он в новеньком оппель-капитане и всегда в обществе высокооплачиваемых женщин. Ко мне он относится хорошо и зовет своим другом (майн юнге фройнд). Псих и все его подданные состоят у него на службе, и он очень заботится о благополучии полезных ему людей. Ведь это он раздобыл для Психа и его людей домик в портовом районе. Дом этот теперь — наша штаб-квартира. Пустует она лишь тогда, когда мы уходим по делам. Дела у нас самые разнообразные и чаще всего в районе Шлезвига.

■

Я стал певцом в портовом кабаре.

Как-то, когда у нас был Чухкади, я пел в нашем логове для себя и своей компании. Схватив меня за ухо, Чухкади сказал: «Уши у тебя что-то большие, но, должно быть, музыкальные» и повел меня в «Гонолулу», хозяин которой пользовался иногда его услугами. Меня заставили продемонстрировать свое искусство, и с тех пор я хожу (когда нет более важных дел) в кабаре и выступаю в сопровождении гитар. Посетители — матросы, солдаты, грузчики и проститутки из портовых борделей — относятся ко мне приветливо, даже сердечно. Мои песни им, видимо, нравятся и, наверное, я тоже. За это я могу каждый вечер заказать себе столик и угощаться в свое удовольствие. И пока я угощаюсь, ко мне подходят поклонники моего таланта и мешают есть. Одним обязательно надо похлопать меня по плечу, другие во что бы то ни стало хотят выпить со мной, а третьи лезут целоваться. В кабаре меня зовут Буби, и, как бы там ни было, должен признаться — мне это очень лестно. Однако песни — это между прочим.

С Чухкади разъезжаем по многим городам в западной зоне, а иногда проникаем даже в Бранденбург. Цель таких поездок — познакомить меня с нужными людьми. Торговлю Чухкади ведет широкую: табак, мыло, сельди, спирт, наркотики, кофе, и я не знаю «предпринимателей», равных ему. Что же касается спекуляции и спекулянтов, то Фленсбург кишит ими. Везде что-нибудь продают, покупают: в городе, порту, лагерях перемещенных лиц, — всюду. Основные рынки, конечно, в лагерях.

С приходом англичан из угнанных жителей Прибалтики, Украины, Польши и других образовались такие лагеря. Во Фленсбурге они разбросаны по различным районам города, каждая национальность отдельно. Управляет жизнью этих лагерей международная организация. Эстонский лагерь находится вблизи железнодорожной станции и называется «Банхофлагерь». Я часто бываю в лагере, иногда по поручению Психа или Чухкади, а когда просто прихожу повеселиться — поиграть в шахматы или на концерты.

В лагере есть школа и организация бойскаутов. Школа, разумеется, чепуха, но скауты носят форму, которая мне очень нравится. С ними занимаются офицеры бывшей эстонской армии, их здесь множество. Даже генерал доктор Лоссман навещает их. Откровенно — хотел бы быть скаутом.

Прошли праздники — рождество и Новый год. Рождество — елка, дед Мороз, постановка, танцы — ничего интересного. Еще кукольный театр: «Ганс Каспар у разбойников». Новый год...

Однако прежде надо написать кое о чем, что было в старом году.

В старом году погиб Псих — застрелили полицейские, конечно, «при деле». Закрылась наша штаб-квартира, и Лисенок, то есть я, поселился в Банхофлагере в бараке для семейных — ведь я еще «ребенок»... Вскоре после этого меня приняли в организацию бойскаутов, порядки которой сначала показались мне весьма строгими (скаут должен не воровать, не пить, не курить и еще черт знает что), но позже я убедился, что все эти требования можно и не выполнять... Однажды в клубе ко мне подошел элегантно одетый молодой человек и исключительно вежливо попросил уделить ему несколько минут.

Назвался он Джимми.

Джимми объяснил мне, что ему нужен партнер, что он давно меня знает как смышленного человека, которому пора уже приобретать более определенную квалификацию. Джимми — специалист по гостиницам и всяким ночлежным заведениям. Человек он тонкий и ремеслу обучает меня с терпением няньки. Только мне у него вроде и учиться нечему, все это мне намного более эффективно преподавали в Куксене, в школе гитлерюгенд. Когда я объяснил однажды Психу и всем другим, как пользоваться витринами, и показал, как нужно крутить ногу и все прочее — они здорово удивились и признали мой авторитет. Что касается Джимми, мне нравится, что он зовет меня по имени. Я с ним основательно подружился.

Ну, кажется, про старый год больше писать нечего.

Встречать Новый год во Фленсбурге собралось лучшее общество бывшей Эстонии. Приезжали гости из других городов нашей зоны и даже из других зон. Приезжали журналисты, артисты, военные, писатели и прочие деятели: наехали, конечно, и аферисты всех категорий, да и мелких плутов собралось немало. Готовиться к новогоднему балу начали сразу после рождественских праздников и для этого заняли театр. Начались репетиции художественной самодеятельности, а мы, скауты, учились стоять в почетном карауле у национального флага и проходили краткие курсы обслуживания гостей в гардеробной, в буфете и так далее... Мы должны были заменять и кельнеров. Встретить Новый год в «Колоссеуме» могли, конечно, лишь самые достойные, избранные граждане бывшей Эстонии.

К моему неудовольствию, мне пришлось находиться в гардеробной, принимать пальто у господ и шубки у дам. Принимая сей товар, я размышлял о том, сколько стоило каждое пальто или каждая шубка в отдельности, и прикидывал, что удалось бы получить за всю эту гардеробную, если продать оптом... Было весело воображать, как все эти расфуфыренные фрауэн будут отправляться отсюда без своих роскошных шубок.

Когда все гости приехали, я все же улизнул из гардеробной и приступил к роли кельнера. Разносил горячие и холодные блюда, напитки, торты и пирожные и наконец почувствовал себя совершенно в своей тарелке.

Убедившись, что это дело у меня здорово получается, я вздумал работать виртуозно. Еще в гардеробной я заметил одну привлекательную женскую физиономию, и теперь в зале мое внимание целиком принадлежало ей, было сосредоточено на ней, на той, сидевшей за столиком в центре зала между своими папа́ и мама́. Наверное, наши симпатии были взаимны. Воз-

можно, ее присутствие послужило причиной того, что я блестяще справлялся с обязанностями кельнера, — она меня вдохновляла.

Вот, набрав сразу четыре заказа цыплят в соусе, я построил из них на подносе пирамиду и поплыл между столами. Тут я взглянул на милую рожицу, а она, черт ее побери, показала мне язык... Я до того был удивлен, что не заметил, как зацепился ногой за чей-то стул, и в следующий миг цыплята полетели на одну кудрявую голову и разлетелись по всему столу, обливая соусом сидящих. Дамы закричали, запрыгали, господа тоже... зарычали. Я остолбенел, не зная, бежать или оставаться.

Тут я увидел смеющуюся виновницу катастрофы. Когда я обернулся к ней, она, не переставая смеяться, показала мне пальчиками на ладони бегущего человека... Мол, удирай. И я моментально, разумеется, совершенно спокойно, последовал этому совету. Не будет мне в этом году счастья.

■

С девушкой, показавшей мне язык на новогоднем балу, я познакомился. Ее звали Марви. Мы встречались, ходили в кино, в «Гонолулу», и мне приятно было знать, что в публике находится она; гуляли в парках, ездили в Мюрвики, а вечером, когда я ее провожал домой, целовались. Хорошо было...

Но любовь переполняла меня, и я рассказал о ней Джимми. Выслушав мою исповедь серьезно, он так же серьезно заявил: «Тебя, брат, попросту нужно сводить в одно местечко»... Я обиделся, и больше мы об этом не говорили. Только Джимми ничего не забывает. Прошло немного времени, была попойка, и я, совершенно не любящий спиртного, ухитрился, однако, напиться. И здесь мой друг состряпал дельце: он потащил меня на известную в порту улицу «Счастья», в заведение, куда был вхож сам, где и меня приняли.

Я стал частым гостем в этом доме. Ко мне все относятся с исключительной заботой, особенно, Магда, самая из них старшая, ее все зовут «Ди муттер дес Буби» (мать Буби — меня в этом доме тоже зовут Буби)... С Маври больше не встречаюсь, мне стало с нею как-то неловко, а то, что было с Магдой, кажется чудовищно невозможным с нею.

■

В моей жизни произошли маленькие изменения. Сначала я приобрел одну мамашу, а потом променял ее на одиннадцать других. Получилось так потому, что лагерным администраторам пришла в голову нелепая идея: собрать всех беспризорных и отправить их куда-то в неизвестность. Моей свободе угрожала опасность, и я не знал, как избежать ее. Зато это знал другой человек — бывший колонель (полковник) бывшей Эстонии герр Мези. Этот господин, наверное, давно за мной наблюдавший, однажды подошел ко мне и заявил, что его очень интересует моя судьба («бедного одинокого мальчишки»), что он не против усыновить меня, если, конечно, я соглашусь считать его за папу, его супругу — за маму, а его сыночка — за брата.

Что касается герра Мези — я с ним был знаком. Вроде ничего малый, но его супруга не очень мне нравилась.

Мне, конечно, не хотелось терять волю и признать кого-то своим папой, но это была единственная возможность не попасть в лапы администрации; я согласился. Живет семейство Мези в лагере, но в их распоряжении боль-

шая светлая комната, в то время как в других таких же комнатах обитают по двадцать человек.

— Ну, вот, — сказал герр Мези, когда я перебрался к ним, — моя жена будет тебя ласкать (что было весьма сомнительно), а я буду карать за провинности.

Он будет карать? Этого только не хватало! Но я покорно согласился, хотя променял кукушку на ястреба. Однако на мою свободу в семье Мези никто не посягал. Вскоре я понял, что колонель не возражает, если я принесу хороших папирос, сигар или вин. Фрау Мези также ничего не имела против, если, помогая семье прокормиться, я приносил что-нибудь вкусненькое... А скоро фрау потребовалось вино к вечеринке, дамские перчатки, туфли, белье... Что ж, конечно, знали, кого усыновили. Но я их тоже понял и, убедившись, что на них не наворуешься, решил сыграть с ними шутку.

Собираясь выполнять очередное пожелание фрау, я прихватил с собой ее сыночка, благо он давно на это просился, и сделал так, что желаемое она получила из его рук, потом еще раз, и еще, а затем госпожа без излишних церемоний прогнала меня из своего гнезда. Кончилась моя семейная жизнь.

Что было делать дальше? Администрация, как коршун, высматривала добычу... Я решил поселиться на улице Счастья у Магды и ее подружек. Теперь у меня одиннадцать веселых мам, и носить для них ничего не надо (это делают другие), а заботятся они обо мне более искренне, чем колонельша. Они меня очень любят, мне кажется, в этом проявляется их жажда чего-то доброго, чего у них почти никогда не бывает. Приходили из полиции какие-то чиновники и стали ругать патронессу фрау Ангелину за мое пребывание в этом доме. Старая леди увела их в свою комнату, и о чем они там говорили, никто не знает. Только меня оставили в покое.

Конечно, живу у Магды. Когда к ней приходят «гости» — я ухожу. Но вообще я очень мало бываю дома, все некогда.

■

Дела мои плачевны. Я вынужден сидеть дома и не показывать носа на улицу. Все из-за жадности.

Некий авантюрист предложил мне заняться продажей «золотых» колец, которые он весьма искусно изготовлял из белой меди. Отмеченные пробой «96%», они по виду ничем не отличались от настоящих. Хотя дел хватает, я согласился.

Попался на ярмарке, в палатке ярмарочных артистов. Моими покупателями были три дамы, три прежирных особы, и худюсенький старик в роговых очках, с тростью. Старик был исключительно худ, но насколько худ, настолько и хитер. Кто бы мог подумать, что эта старая обезьяна станет испытывать мое золото кислотой...

Избили они меня, повалили на пол и основательно поколотили, причем старик оказался весьма свирепым: он все норовил попасть тростью мне в глаз. Глаз остался цел, но все лицо распухло.

Когда пришел домой, поднялась паника. Начались хлопоты: Магда уложила меня в постель и принялась обследовать мои синяки. Лонни с Фридой принесли какие-то мази (к сожалению, не чудотворные), наконец, положили холодные компрессы на все лицо и прописали полный покой. Будь они прокляты, кольца эти! И фальшивые, и настоящие...

■

Я ушел от них, с улицы Счастья. Поселился в порту, в старом дырявом катере, стоявшем среди десятка таких же развалин, оставшихся здесь с войны. Оборудовал себе наиболее уцелевшую каюту, притащил одеял и прочего тряпья, стащил с улицы Счастья еще ведро и щетку и сделал в каюте капитальную уборку. А из «Гонолулу» приволок необходимую посуду. Получилось жилье что надо — чисто, уютно. Первую ночь проспал, как в раю. Проснувшись утром, даже не поверил, что я, наконец, один. Но я попал в затруднительное положение, потому что в «Гонолулу» меня кормили только один раз, и то не каждый день, а лишь в те дни, когда я там выступал. Есть же у порядочных людей принято по нескольку раз в день. Иные по три раза в день едят, а иные только и делают в этом мире, что с утра до вечера набивают свое брюшко разной снедью, обрастая складками жира. Я подошел к хозяину «Гонолулу» — герру Казимиру и спросил, не может ли он меня слегка подкормить и в те дни, когда я у него не выступаю. И рассказал о своем положении. Он немного задумался и спросил, а почему бы мне, собственно, не устроиться куда-нибудь работать? Пожалуйста, я готов, но куда? Он спросил, что я умею делать. А что я умею — драться, красть, открывать замки, подниматься по водосточным трубам, по жерди, продавать краденые вещи и позолоченные кольца... Что еще умею? К сожалению, ничего. Но я был официантом на новогоднем балу эстонской знати, да еще гардеробщиком — там же. Тут герр Казимир радостно ударил меня по плечу и сказал, что ему что-то пришло в голову. И точно пришло. Он устроил меня в ресторан «Барселона» гардеробщиком.

Ресторан этот самый шикарный в порту. Директора зовут герр Бруно. Вместе со мной работают две девушки — Илона и Эвелин. Они красивые, особенно Эвелин: стройная, светловолосая, изящная и какая-то ласковая. Илона — тоже красива, но проще. Она говорит, что работает в «Барселоне» уже давно. Эвелин недавно сюда устроилась, до этого работала продавщицей, но не угодила какому-то привередливому покупателю, и хозяин ее прогнал. Тут не нуждаются в продавцах с характером. Захотел клиент— стелись ковриком у его ног, не можешь — убирайся. От капризов продавца страдает выручка. Эвелин живет где-то далеко, на окраине, и всегда немного опаздывает, за что ее безбожно ругает обер-кельнер Кнут — мужчина с тремя волосинками на макушке и маленьким кругленьким барабаном под жилеткой. Кнут вообще постоянно ворчит, но это у него, кажется, больше профессиональное, не от души. Эвелин рассказывает о своем доме и семье с такой любовью, что завидно становится. У нее, оказывается, есть очень милая мама, паршивый, всем недовольный брат и сестра меньшая. Все они «пока» не работают. Моему появлению обе девушки очень обрадовались, и скоро я убедился, что было отчего.

Ресторан открывается в семь вечера, но мы должны быть на месте уже к пяти. Сразу после открытия начинается горячка: дамы в вечерних платьях, цветы, кружева — сюда ходит публика рангом выше посетителей «Гонолулу», — элегантные мужчины, дорогие украшения, запах духов... Ах, какие запахи! Принимаешь шляпы, пальто, шубки. Бегаешь как белка от барьера к вешалкам, смотри не зевай, не перепутай номерок, не то быть беде. Чаевые иногда щедрые, опускаем в металлические замкнутые коробки, которые после работы забирает обер-кельнер Кнут. Нам ничего не перепадает, мы получаем зарплату, пятьдесят марок в неделю, — не жирно. Но после работы нас кормят в кухне, и мы суем в сумки все, что удастся стащить со стола.

Закрывается ресторан в четыре утра. Всю ночь танцы, музыка. В гар-

дероб выходят разные прилизанные личности и ухаживают за девушками. Обо мне они все как один осведомляются: что за обезьяна у вас появилась?

После полуночи гости начнут расходиться, и тогда мы опять бегаем целый час, еле поспеваем. К тому же нередко приходится кому-нибудь доказывать, убеждать, что это именно свое пальто он надел и свою шляпу держит в руках. Дамы теперь уже не пахнут духами. И вообще не пахнут, а воняют табаком, вином; они бессмысленно на тебя смотрят, щиплют за нос. Все это чертовщина, конечно, но дело в том, что порядочному человеку жрать надо по меньшей мере два-три раза в день. Но я все-таки живу в собственной квартире и сам себе хозяин.

■

Шляпы, шляпы и еще раз шляпы. Господа, дамы, шубки и пальто. Номерки, целый час номерки. От барьера к вешалкам, туда-сюда. «Здравствуй, рыбка», «Привет, сладость», «очарование», «радость», «мечта» — все это сыплется в адрес девушек, а меня это больно задевает по сердцу, особенно когда касается Эве. Она мне страшно нравится, если бы она только знала... А за ней как раз больше всего и стреляют все эти прощелыги, кому некуда девать свои вонючие деньги. Бесконечный утомительный час беготни. Наконец наступает долгожданное затишье — теперь до часу, до двух.

Эве устало села на стульчик, вытянула ноги. Какой-то дородный господин сунул голову в окошко.

— Илона! — позвал он.

— Как всегда? — она заговорщицки улыбнулась и достала из-под стола маленький продолговатый пакетик. Озираясь по сторонам, она быстро подала его господину, получив от него взамен несколько кредиток.

— Остаток тебе, — сказал господин и исчез.

— Вот видишь, — сказала Илона Эве и показала кредитки, — сто пятьдесят марок, из них тридцать мне, двадцать — Кнуту. Она приподняла юбку и быстро сунула деньги в чулок.

— Я тебе давно говорила, начинай... Чего бояться? — при этих словах она взглянула на меня. Наши с нею отношения не назовешь приятельскими, она меня терпит, ведь пользу-то я приношу, бегаю все-таки живо. Но мне кажется, она бы непрочь приучить и меня к своей торговле. И я бы, наверно, давно продавал коньяк, если бы не Эве. Она сказала, что сама продавать не будет и мне не советует. А раз Эве это неприятно, пусть это несет хоть чистое золото — я продавать не буду.

— Тебе бы сидеть где-нибудь в канцелярии, — продолжала Илона убеждать Эве. — Недотрога ты и скромница. Но я тебе скажу — красивой девушке не вредно, если ее немного полапают. Тут уж ничего не поделаешь, на то ты красива.

Эве рассказала, как герр Бруно предлагал ей продавать алкоголь, обещая повысить зарплату и все такое. Эве не согласилась.

— Будь осторожна, — предупредила Илона, — как бы он чего-нибудь не придумал.

Появился Кнут. Оказывается, если придет госпожа Краузе со своим мальчиком, нужно ее предупредить о том, что в зале находится ее муж. Он еще постоял немного, ни к кому конкретно не обращаясь, прохрюкал: «Ну-ну, работайте», — и пропал. Но тут же вернулся и сказал Эве, что звонил герр Клаусен. У него сегодня вечер, и герр Клаусен хочет, чтобы пришла Эве. Он добавил, что за ней приедут, и снова пропал.

— Зачем тебя приглашают на эти вечера? — спросил я после работы Эве, когда она, уже одетая, ждала того, кто должен был за ней приехать.

— Приглашают не только меня, малыш, других тоже... А зачем? Веселиться, — она говорила об этом вовсе не весело, уставшим, тихим голосом. — Они нам за участие в этих вечерах платят. О, щедро платят. Разумеется, там не всегда приятно, чаще даже неприятно: пристают, сальности и все такое. А не идти — тоже нельзя. Потом герр Бруно тебя вызовет и скажет: вы вели себя вчера нетактично, мне не нужны нетактичные служащие. А это значит, что надо искать другую работу.

■

Посетителей было мало. Тянулись один за другим, было еще рано. И к тому же дождь. Я слонялся между вешалками, прислушиваясь к разговору девушек. Говорила Эве:

— Уго его спрашивает: «Куда это вы едете?» А он отвечает: «Я же здесь, на Централштрассе, не могу развернуться, сделаю круг по соседней улице». «Болтовня», — проворчал Уго, но не стал спорить. Такси повернуло на какую-то узкую улочку и вдруг заскользило по мокрому асфальту, с визгом заскрипели тормоза, прямо на нас летела большая машина. Потом ударились, и все смешалось. Такси перевернулось. Посыпались стекла, кто-то что-то кричал — и все. Вроде все остановилось — жизнь, свет, все. Потом я почувствовала, что меня поднимают, — это был Уго. С ним ничего не случилось. Собрался народ, и полиция, разумеется. Таксист, весь в крови, проклинал водителя той машины, а его и след простыл. Было бы хлопот — не оберешься, но Уго показал удостоверение репортера, и полиция, записав адреса, нас отпустила. Таксиста увезла скорая помощь. Кому-то надо свести с Уго счеты, он думает, что этот наезд неспроста, и говорит, что это излюбленный метод платных убийц.

Что такое мог сделать Уго, за что его собираются убить? Я его знаю, он ухаживает за Эве, и, наверное, серьезно. И Эве относится к нему тоже не так, как к остальным. Он знает, что я люблю Эве, что мы с нею друзья, и ко мне относится тоже не так, как остальные. Уго не считает меня обезьяной, беседует со мной по-мужски, серьезно. Когда я его первый раз увидел, я сразу понял, что это настоящий мужчина. Вошел — длинный, веселый, простой. С ходу напялил на мою голову шляпу и сказал, точно как Эве: «Спрячь ее куда-нибудь, малыш». Вообще я не малыш, но им я это прощаю. Когда он ушел, я сказал Эве: «Во!» И поднял большой палец. Эве радостно улыбнулась.

■

Я спросил Уго, за что его хотят убить. Он недовольно поморщился: «Это тебе Эве наболтала?» Потом заулыбался, лязгнул большими белыми зубами, словно волк, и добавил:

— Есть такие темные личности, для них всего важнее, чтобы никто не узнал, чем они занимаются, а люди моей профессии, малыш, как раз и разыскивают всякие темные истории и не стесняются называть имена. Ну вот, это им иногда не нравится. Понял, малыш? А вообще это все ерунда, расскажи лучше, как там твоя квартира?

Это он имел в виду мою каюту. Он один о ней знал: не хотелось ему врать, но я взял с него слово, что он никому не расскажет, а ему можно верить. Однажды он сказал, что хочет прийти ко мне в гости, и мы пошли

в порт. Каюта ему понравилась, он только нашел, что нужно оклеить бумагой стены. Тут он стал меня расспрашивать о моей жизни вообще.

— А домой не хочешь? — спросил он, — Там, наверное, мама тоскует?.. И здесь, конечно, жить можно, но что тебя ждет? — Он надолго замолчал, и мне стало неудобно от этого. Что тут меня ждет, об этом я еще толком не думал. Да и зачем? Все равно ведь жить надо — думай, не думай. А мама... Что там дома? Вообще он прав, домой хочется, но и боязно. Там теперь русские и неизвестно, что и как. Что с отцом — он ведь против русских воевал.

— А здесь ты пропадешь, малыш, — сказал, помолчав, Уго. — Ты здесь всегда будешь одинок. Можешь стать первоклассным жуликом, а человеком — нет. Но тебе этого сейчас не понять. Тебе не понять, что любить тебя здесь могут — вот я, например, или Эве и, может, еще кто-нибудь, но мы боремся за жизнь и не можем тебя поднять, дай бог самим удержаться. Домой тебе надо. Ну, что касается этой каюты — она даже лучше, честнее, чем многие фешенебельные квартиры. Это точно.

Затем он, попрощавшись, неуклюже вылез через маленькую дверцу каюты. Через пару дней после того я оклеил каюту старыми газетами, а однажды Уго принес мне в «Барселону» картину. Молодая, красивая, с длинными волосами женщина сидела на скале. Уго сказал, что это Лорелея. Я ее повесил на стену, и каюта стала сразу какой-то уютной, нарядной. Хороший парень Уго, Эве тоже хорошая. Наверное, они поженятся.

■

Вчера я еще не знал, что означает слово «диверсия». Сегодня знаю, даже если бы не захотел, узнал бы непременно. Еще бы! Когда весь город в один миг словно взбесился, когда летят в воздух склады, корабли, когда погибают сотни людей, когда везде валяются и стонут раненые, когда люди, уже начавшие жить мирной жизнью, бегут, как ошалелые, в поисках убежища, когда со звоном вылетают из оконных рам стекла и проваливаются потолки, хороня под собой людей, — узнаешь тогда, что означает слово «диверсия». Все только об этом и говорят. Началось это вдруг, неожиданно. Наверное, саботаж всегда начинается неожиданно. Я был в городе, к моему счастью, шагал по Централштрассе вверх к Норд-Тору, когда вдруг страшный взрыв потряс весь город. Это было так неожиданно и так страшно, что в первый миг люди словно оцепенели. Из витрин магазинов посыпались стекла, по мостовой катились круглые буханки хлеба, но хотя хлеб был так дорог и его вечно не хватало, никто на это не обращал внимания. В глазах людей был ужас. Город потрясли сразу несколько гигантских взрывов. Порт не был виден из-за черного, густого дыма. Люди, будто опомнившись, побежали — кто куда. Война давно закончилась. Люди привыкли к покою. И вдруг...

Это и была диверсия. Сделали это бывшие гитлерюгенд, не желавшие, видимо, смириться с поражением фашистской Германии.

В тот день, когда произошла катастрофа, был какой-то важный праздник в Англии — день рождения то ли короля, то ли королевы, — как раз в честь этого был парад, английские войска гордо маршировали на центральной площади города, а тут... салют!

В порту стояло несколько военных кораблей, приндлежавших бывшей Германии. Стояли эти корабли, и никто на них не обращал внимания. И никто не мог подумать, что они еще принесут несчастье. Они стояли, нагруженные боеприпасами, неподалеку от воинских складов, где тоже хра-

нились боеприпасы. Сперва взорвались один за другим корабли, а вслед за ними склады. В порту начался пожар, загорелись торговые суда и промтоварные склады, загорелись и жилые дома. Огонь бушевал по всей территории порта. Во всех концах города завыли сирены, как в былые времена, когда американская авиация совершала налеты на город, и люди, не зная, что это могло означать — не началась ли снова война! — удирали со всех ног в убежища.

Порт и близкие к нему районы оцепили полиция и войска. Оттуда выносили окровавленных людей. Проскользнуть на оцепленную территорию мне не составляло труда, я знал в порту и в прилегающих к нему улицах бесчисленные лазейки. Но двигаться в районе катастрофы было опасно, кругом сновали полицейские и военные, вылавливая мародеров и грабителей, пользующихся суматохой. Я прошел к «Барселоне», но в тот день и еще на три для мы получили совсем нежелательный отпуск.

Предсказание Илоны сбылось. Вчера пришел Кнут и сказал Илоне, чтобы она отправилась на Кенигштрассе — в какую-то компанию. Мы остались вдвоем с Эве, и я этому очень обрадовался. Но зря радовался. Не успела уйти Илона, как появился долговязый молодой человек, облокотился на барьер и спросил Эве: «Много сегодня успели продать?» Эве, разумеется, сразу догадалась, в чем дело, но сказала, что не понимает, о чем речь. Тогда незнакомец показал удостоверение полицейского и вошел в гардеробную.

— Я имею в виду коньяк, — пояснил он.

Эве сказала, что не продает алкоголь.

— Посмотрим, — промолвил шпик и начал рыться в гардеробной.

Эве, побледнев, следила за ним испуганными глазами. Вскоре он нашел спрятанные под столом бутылки — Илона их еще не успела, видимо, продать — и удовлетворенно хмыкнул. Он открыл одну и осторожно пригубил. Вытер рот, еще раз хмыкнул: «нормально». Потом запихал в карманы все бутылки и сказал Эве, чтоб оделась и шла с ним. Эве божилась, это этот коньяк продает не она, что она ничего не знает, но тип-то ведь был полицейский, и, по-моему, легче разжалобить крокодила, чем его. Увел бы он Эве, если бы не вошел герр Бруно. Он казался очень удивленным и спросил, что это значит. Полицейский начал объяснять, что нашел у этой «крошки» коньяк и тому подобное. Тут герр Бруно, изображая на лице медовую улыбку, стал уговаривать полицейского подождать, позволить переговорить с Эве наедине. Герр Бруно был известный человек в порту, уважаемый, и, конечно, полицейский не отказал ему. Он остался ждать в вестибюле, а герр Бруно и Эве вошли в гардеробную. Герр Бруно выглядел озабочнным и говорил, что Эве влипла в глупейшую историю, потому что продавала коньяк на свой страх и риск; что, если бы она продавала по его предложению, он бы всегда ее отстоял, ей нечего было бы опасаться, а теперь... это его, в сущности, не касается. Но с другой стороны, ему вроде жаль ее, у нее мама больная и брат безработный, и отец недавно умер, и все такое. Вот если Эве согласится на его предложение... А тут ее тюрьма ждет и репутация тоже пострадает, попробуй потом найти работу. Он все говорил, а Эве все плакала. Потом она тихо сказала: «Я согласна, герр Бруно, помогите только». Герр Бруно похлопал ее ласково по спине и вышел в вестибюль. Вскоре полицейский ушел.

■

Кричит где-то громкоговоритель, звонят какие-то колокола, гремят

цепи, о пристань лениво плещут волны, греясь под лучами теплого солнца. Тепло. Хорошо тут сидеть, на штабелях древесины, и мечтать о далеких странах, откуда пришли в этот порт и куда уходят корабли, стоящие у пристани. Сидеть, мечтать... А спать? И спать, наверное, надо здесь же. Где же еще? Ночи сейчас уже холодные. Но ведь спят же тут люди, стало быть, и я могу. Хорошо бы в той каюте, но ее у меня отняли какие-то оборванцы. Пришел в каюту, а там развалились эти двое — оборванные, обросшие, грязные. «Что тебе тут надо? — спросили. — Катись отсюда». В моей чистой каюте воняло, как в хлеву, табаком и потом. Лорелее, подаренной Уго, прилепили к губам папиросу. Я сказал им, что это мое жилье и что заявлю в полицию, если они не уберутся, на это оба засмеялись, и один накрыл мое лицо своей сто лет не мытой вонючей пятерней. Я, разумеется, убрался. Не идти же в самом деле в полицию, смешно. Какое дело полиции до всего этого. Оставил им одеяло и подушку без наволочки. Еще хорошо, что моя единственная одежда — и рабочая, и выходная — всегда при мне. Других таких кают поблизости нет. Остался я без жилья.

Бродя по территории порта, набрел на большие штабеля досок и прочей древесины. Тут ютились какие-то люди, мало отличавшиеся от двоих в моей каюте. По их примеру и я забился в наиболее уютную щель в штабелях. Собственно говоря, в порту всегда найдется, где переночевать. Здесь множество спрятанных от нескромного глаза, и прежде всего — от сторожей и полицейских, укромных уголков, где можно поспать, но где тебя могут и раздеть, если покрывающие твои ребра тряпки заслуживают этого.

Утром я пошел в «Гонолулу», и тамошняя повариха меня накормила. Вечером надеялся в «Барселоне» увидеть Уго и рассказать ему об этих наглецах. Может, Уго придумает, как от них избавиться, но Уго я не встретил, потому что мертвые не посещают «Барселону» и вообще они не ходят.

— С ним свели счеты, — сказала Илона и добавила: — Не проболтай Эве, она ничего не знает. Чего доброго, закатит истерику, она такая.

Да, Эве нежная... Но все равно же она когда-нибудь узнает. А я еще думал, что они поженятся... Я спросил, как это сделали, то есть как «свели счеты», но Илона отмахнулась — незачем тебе это.

А Эве ничего не знала, пришла на работу веселая. Ее шутки и смех звучали до тех пор, пока не случилась история с этим противным кошельком, которого не брали ни я, ни Эве, разумеется, а также ни Илона. Никто его не брал, больно нам это надо. Его, наверное, не было совсем, а эта гадина приставала к Эве, кричала, что был кошелек, что его украли и все тут. И опять Эве...

Сперва пришел Кнут с номерком и сказал, что в кармане пальто должен быть кошелек. Эве перевернула все карманы — никакого кошелька нет. Она протянула пальто Кнуту, чтобы тот убедился — нет кошелька. В это время появились из зала почтенный лысый господин и еще более почтенная дама. Господин был просто почтенный, но дама... жирная, белая — студень, не женщина, она держалась так, что, глядя на нее можно было подумать, будто на свете существуют лишь считанные люди: во-первых, она и ее лысый супруг, ну и еще там пара министров, несколько миллионеров...

— Как, в кармане нет кошелька?! — прорычал господин глухо. — Что за шутки?! — ревел он, набирая силу. А дама тут же заключила, что если в кармане кошелька нет, значит, его украла эта «девка». Она показала на Эве. Эве уже давно начала дрожать, даже Илона, обычно не теряющая равновесия, казалась напуганной. Еще бы! Обвинение в краже — что мо-

жет быть хуже. Но — удивительное дело: Эве такая красивая, у нее, да и у Илоны тоже, такие честные глаза, что если на кого из присутствующих могло пасть подозрение, так это на меня. Мне кажется, один я соответствовал представлению о жулике, способном залезть в чужой карман. Но дама кричала на Эве, называла ее разными мерзкими прозвищами и требовала, чтобы сейчас же вызвали полицию.

Никакого кошелька не было, господин его, видимо, забыл дома или потерял где-нибудь, никто его не брал — это было ясно. Но мне было ясно и то, что Эве ничего не сумеет доказать, и я сказал им всем, что кошелек взял я. Обер-кельнер Кнут вытаращил глаза. Я еще раз крикнул им, что это я взял кошелек и что все они гады и сволочи. Кнут собирался что-то сказать, но его опередила дама, она схватила меня обеими руками за волосы и трясла изо всех сил.

— Ублюдок! Паршивец! Воришка! — кричала она, вырывая мои волосы. Илона и Эве стояли словно парализованные, господин же предоставил всю инициативу своей супруге. Кнут побежал, очевидно, звать герра Бруно. Мне было больно, я был зол, о, я очень разозлился. К тому же я знал, что ничего хорошего меня не ждет, и еще — я так возненавидел эту тварь, что плюнул ей прямо в лицо. И когда она меня, не переставая кричать, отпустила, одним махом перепрыгнул барьер. Тут прибежал Кнут и герр Бруно. Кнут пытался меня задержать, но я ударил его ногой в живот, он упал, а я выбежал в дверь. Так закончилась моя служба в «Барселоне».

Скоро вечер. В «Гонолулу» сегодня не пойду. Во-первых, потому, что совсем обтрепался за эти дни и петь в таком виде нельзя. Во-вторых, просто неохота никуда идти. Разве все же пойти в Банхофлагерь... Тоже не хочется. Можно вернуться на улицу Счастья... Или вернуться домой? Совсем домой... А тепло сегодня, солнце хорошо так греет, воробьи ему радуются, волны плещут, и медуза всплыла, качается на волнах, греется. Всем вокруг хорошо, только мне нехорошо, и Илоне нехорошо, и Эве нехорошо. А может, еще кому-нибудь нехорошо? Кто его знает... Наверно, в мире всегда так: одним хорошо, другим плохо. Герру Бруно — хорошо, а чтобы ему было хорошо, Эве должно быть плохо. Этой «твари» тоже хорошо, и тому почтенному господину: у них свои дома, машины, денег у них много. Все дело в деньгах. Было бы у меня столько денег, чтобы помочь Эве и всем хорошим людям... Но где их взять?

■

Живу теперь в здоровенном ящике, около железной дороги, проходящей через территорию порта. Их тут целая гора, этих ящиков. Ящик, в котором я живу, такой большой, что мне с трудом удалось перевернуть его вверх дном. Я выбил несколько досок в одном его конце, и получилось надежное убежище от дождя и ветра. По соседству, через пару домов, то есть ящиков, проживает старая желтая собака, которая то появляется, то пропадает. Ночью она где-то промышляет, а днем спит, забившись в тень. Сперва я ее старался прогнать, и она убегала, поджав хвост, жалобно и обиженно на меня озираясь. Но через некоторое время возвращалась на свое место. Оставил ее в покое, ей тоже нехорошо. Вот в «Барселону» ходит один господин с розовым, откормленным мопсом. И мопс этот — тоже собака, но разве сравнишь одну собачью долю с другой... А ведь моя рыжая приятельница ничуть не хуже этого мопса — спокойная, скромная, никого не обижает; о чем она думает, я, конечно, не знаю, но она мирная: не трогай ее — она никого не тронет. Этот же мопс на всех окружающих тяв-

кает, вертится, вырывается, скулит, визжит — никакого достоинства собачьего. И хвастун первоклассный: подражая хозяину, ходит на задних лапах, курит сигару и показывает еще какие-то там пустяковые номера, таскает в зубах перчатки хозяина.

Эх, жизнь... собачья. Уго был прав — мне тут нечего делать, никому я тут не нужен. Я ведь совсем один остался, если не считать рыжего пса. Недавно, напившись до чертиков, упав с четвертого этажа, разбился в лепешку Чухкади; а Джимми подцепил где-то сифилис и попал в больницу, а затем, выйдя оттуда, — за решетку. Но ведь есть же у меня мама, и брат, и сестра. Черт возьми, зачем мне чужие мамы и все эти?.. Только там ведь коммунисты, а про них я ничего хорошего не слышал. Что, если они возьмут и отправят меня в Сибирь? Там, наверное, очень холодно... В Банхофлагере я много об этом слышал.

Легко сказать «поеду», а как? Я знаю многих, кто уехал на родину, но не знаю, когда и как они это сделали. Они исчезли, и все. Лишь после кто-то что-то кому-то говорил, и люди потихоньку узнавали, что такой-то уехал на родину, в Советский Союз.

Есть в Фленсбурге на Бисмаркштрассе дом с красным флагом. Когда-то, проходя с Чухкади мимо этого дома, я услышал от него, что это дом советских представителей. Наверное, следует пойти туда. Я тогда поделился своим планом с Чухкади. Он сказал: «Я, брат, сам поехал бы, да нельзя — вздернут...» Чухкади, возможно, вздернули бы, но меня, думаю, не вздернут. Не должны. Чухкади — он же спекулянт, капиталист, а я что? Мези тоже вздернули бы, наверно, и господина с мопсом, и эту тварь, которая меня за волосы рвала. Все они богачи или были ими. А я что? Нет, меня не вздернут. А так хочется видеть маму.

■

ТЕТРАДЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГОД 1947

В Куресааре.

Целый день сижу в этой противной дыре совсем один, если не считать крыс. Эти гнусные твари совсем обнаглели, того и гляди укусят за ногу. Предлагал я Орасу обзавестись кошкой — не хочет. Что же, дождется, что эти твари его съедят. Куда это он сегодня пропал? С утра ушел, скоро вечер, а его все нет. Наверное, ищет для меня место. Очевидно, придется идти в лес, к «апостолам». Так думает и Орас. Что ж, я с удовольствием. В лесу интересно, а главное, там меня уж не поймают. Но каков гусь этот Эндл... Зачем ему надо было предать меня, ведь он же знал, что я не диверсант, не шпион, просто вернулся домой, к родным, к маме... Я же не виноват, что их нет, что они уехали куда-то. И в том, что отец воевал против коммунистов, я тоже не виноват. Эндл все это знал, как и то, что я не на парашюте спустился на родной остров, а репатриировался, как сотни, как тысячи других людей. Скажите, какой бдительный! Ну, ладно, бог даст — сочтемся. Орас говорит: «Надо мстить!» Я согласен.

Уже четыре месяца я на родине. 17 марта меня отпустили из фильтрационного пункта, и в тот же день я по льду перешел пролив Муху, чуть не утонул. Лед был совсем тонкий, на полпути я потерял палку, а без палки вообще страшно. Часто встречались расщелины, в них угрожающе булькала черная бездонная вода. Вдобавок ко всему был туман и дул холод-

ный, пронизывающий ветер. Когда из тумана вдруг выступили контуры домов, стал виден берег и пограничный пункт — я так обрадовался, что даже заплакал: живой остался, и дома!

Тремя часами позже я уже радостно шагал по улицам родного города. Навстречу шли люди — эстонцы, русские, добрыми казались все. Прошел через парк, мимо старой крепости к своей улице. Вот и дом голубой, наш дом. Но он показался мне каким-то унылым, странным. Ах вот что — занавески на окнах не мамины, вязаные, а марлевые. Обеднели, видно. Я постучал в дверь и услышал незнакомый голос. В доме жили чужие, по виду бедные люди. Где же мама? Они не знали, кто жил в доме до них и куда девался. У соседей узнал, что мамы, вероятно, нет на родине, а может быть, и в живых.

Перед уходом немцев приехал отец, увез маму, брата и сестру на полуостров Сырве, откуда на моторках шли беженцы в Швецию. Затем он вернулся, чтобы увезти и ту семью, к которой ушел от нас. Но на Сырве они опоздали, и о дальнейшей судьбе его, как и мамы, никому не известно. Зачем же я вернулся на родину?

Куда теперь деваться? — подумал я. — Разве пойти к дяде? Дядя богат, но он с нашим семейством не очень знается. Живет он в своем похожем на дворец доме, на окраине города. Дядя сказал, что не может меня принять из-за отца:

— Обратись к богу, молись, он тебя не оставит.

Чихать мне на них — и на дядю, и на его бога.

Несколько дней прожил в семье школьного товарища. Встретил на улице старого знакомого нашей семьи, бывшего фельдфебеля эстонского легиона Йоганеса Роосла.

Это здоровенный мужчина лет сорока. Он сообщил мне по секрету, что теперь он не Роосла, а Орас. Этот человек приходил в наш дом еще когда отец был с нами, и я его хорошо знаю. Только почему он Орас? Он рассмеялся:

— Дорогой, не обо всем говорят на улице.

Я пошел с ним на улицу Кывер, дорогой рассказывая о себе. Маленький невзрачный домик. Здесь самое большое раздолье, конечно, крысам. Чувствую себя как кусок сала, оставленный на съедение этим тварям. Кроме Ораса, в этом доме никто не живет. Здесь я узнал, что отец, отправив из Эстонии маму, скрывался в лесах, был где-то схвачен коммунистами и убит. Орас тоже скрывается, он потому и Орас, и вокруг, в лесах еще немало наших.

Отец убит... Я боялся отца и любил его. Мне от него здорово доставалось, но он был мировым отцом. Он любил песни и хорошо пел, играл на всех существующих на земле инструментах, мог любой из них сделать сам. Отец и мать часто вдвоем пели, а я, когда был маленький, раскрыв рот, их слушал; когда я подрос, мы пели втроем, дожидаясь, когда подрастет Лейно, братик мой, чтобы петь вчетвером. Отец умел делать не только музыкальные инструменты, он все умел делать: мебель, обувь, сшить костюм, ловить рыбу, рубить лодку, класть печку — все, все он умел делать. И шутить умел. Когда он был весел, в доме все были веселы. Как мы бы хорошо жили, если бы отец не разлюбил маму и не ушел к Лиль Кеза.

Почему это случилось? Почему они с мамой поругались, непонятно мне до сих пор. Непонятно также, почему он всегда ругал немцев, а сам им служил. Неужели он был «и нашим и вашим»? Нет, не может быть, отец был не такой. Впрочем, я помню жаркие разговоры о том, что немцы несут Эстонии самостоятельность, а не оккупацию. А русские не признают

частной собственности... Но почему он все-таки ушел от нас к Лиль Кеза? Лиль, конечно, тоже хорошая, но мама — это мама, мама лучше. Лиль не ругала маму и говорила, что мама хорошая. Вот почему я и думал, что Лиль тоже хорошая. Отец был по отношению к маме нехорош, но все равно я его люблю. Любил...

■

Совсем уже стемнело, придется зажигать свет — разбегайтесь, проклятые крысы!

Кажется странным, что нет больше отца, нет и не будет. Убили коммунисты... Их надо опасаться: они убили отца — значит, он враг, а ведь я его сын. Орас спросил меня, как думаю жить. А как жить?

— И зря ты сюда приехал, — говорил Орас, — здесь тебе делать нечего. Но пока... пока здесь — надо мстить за отца. Золотой был человек.

Да, мстить, а потом уехать из Советского Союза. Орас или Роосла — мне все равно. Он велел звать его Орас, и я зову его Орас; он велел все замечать, ничего не забывать и обо всем молчать. И я все замечаю, не забуду ничего и молчу обо всем. Я перешел жить к Орасу. Живем вдвоем. Он работает на мельнице, я нигде. До сих пор околачивался по городу. Но и это стало опасным. Придется идти в лес. Это из-за Эндла.

Встретил я его у старинной крепости. Я сидел на скамье под сенью старых каштанов и любовался морем. Подошел длинный парень и сел на скамью по соседству. Это был Эндл, образованный член нашего трио покорителей мира. Это он четыре года назад удрал он нас с парохода. Он меня тоже узнал. Мы разговорились, стали вспоминать прошлое, с прошлого перешли на настоящее, и я, между прочим, рассказал про участь отца. Он же о себе ничего определенного не рассказывал: живет с мамой, не то работает, не то учится, собирается жениться.

Спустя несколько дней я опять его встретил в обществе неопрятного молодого человека. Они куда-то спешили и предложили мне пойти с ними, обещая познакомить с кой-какими интересными людьми.

Вспомнив одну из многочисленных заповедей Ораса — всякое знакомство может пригодиться, не упускай ничего, — я согласился. Мы пришли на Новую улицу, поднялись на второй этаж серого трехэтажного дома. Я подумал, что это отделение милиции, но это был штаб истребительного батальона. Мои спутники попросили меня немного подождать и прошли в соседнее помещение. По-видимому, они здесь были как дома. Я сел на скамью и приготовился ждать. Но тут открылась дверь, вошли два вооруженных человека и очень вежливо попросили меня встать и следовать за ними. Я пытался объясниться, но меня повели в другое учреждение, которое называется НКВД. Об этом учреждении я был наслышан. Самочувствие сразу упало.

НКВД помещается в доме бывшего рыбного короля. Камера для арестантов строителями не была предусмотрена. Поэтому меня посадили в чулан, переоборудованный для арестантов. В тот же день вечером допросили. Обо всем спросили: как уехал в Германию, как вернулся, зачем вернулся, кто был отец и многое другое... Я уверен, что укатали бы меня в Сибирь, только ночью я «открыл» дверь чулана и через маленькое оконце уборной сбежал. И вот уже несколько дней провожу время в обществе этих противных тварей, крыс, которым здесь прямо благодать: кошки нет,

и крысоловок никто не расставляет — никакой борьбы с крысами, если не считать, что Орас давит их сапогами. Скука смертная. Что делать дальше, куда деваться, не знаю. Орас говорит: жди. Но чего, сколько, зачем?

■

Один шаг — это немного побольше полуметра. Как много приходится сделать таких шагов, пока пройдешь километр. А километров мне приходится проходить много: я — связь. Скучно ходить по шоссе. Километр за километром тянется шоссе, и конца ему нет; а села у дороги какие-то однообразные, скучные. Вот вдали показывается лесочек, и я знаю: дойду до этого лесочка, а там маленький красный домик, дойду до домика — увижу вдали ветряную мельницу, и, знаю, через километр после мельницы будет мост. Все так, как вчера, позавчера. Все шагаешь и шагаешь до темноты.

Гораздо веселее идти лесом. В лесу некогда скучать, надо замечать приметы, иначе заблудишься. То лиса встретится, то заяц длинноухий, то бельчонок бросается шишкой... А сколько запахов лесных... Не то что на дороге — лишь вонь от бензина да пыль.

Но в лесу, когда стемнеет, делается страшновато, все кажется, что кто-то за тобой идет. Но все-таки мне нравится больше ходить по лесу, чем по дороге.

Когда светит солнце, приятно шагать по еле заметной тропинке, не опасаясь ни милиции, ни истребителей, и мечтать. В шелесте листьев и шуме ветра слышится таинственная музыка, и я мечтаю о том, что вот из-за кустов выйдет Прекрасная, увлечет меня за собой, я попаду к таинственному лесному народу, никогда не знавшему цивилизации, который повелевает зверями и птицами; Прекрасная любит меня, и я остаюсь навсегда у этого народа.

Хорошо мечтать в лесу, хорошо жить в мечте. Здесь все так, как тебе хочется, и никто не может тебе помешать любить Прекрасную, быть богатым и счастливым, сильным, всемогущим. Но вот кончается лес, и кончается сказка. Надо выходить на дорогу, и сразу чувствуешь, как долог путь, и опять надо быть настороже: показывается машина... кто в ней? А вдруг милиция, а вдруг истребители? Дорога опасна. Иду, бреду, дрожу... Километры меняются один за другим, а дорога все тянется и тянется ровной лентой, и конца ей нет. Ах, хоть бы шаг был пошире или ноги длиннее...

■

На лесном хуторе.

■

Сегодня второй день рождественских праздников. Лесные братья спят, они устали. Целый день и ночь гуляли, а когда проснутся, опять будут гулять: жрать, пить, проклинать судьбу и Советскую власть. Я тоже гуляю: жру в три горла, выпиваю немножко, проклинаю Советскую власть и судьбу.

Мы празднуем рождество и свадьбу одного комитетчика. Благодаря ему на нашем столе появились все эти чудесные кушанья и напитки. Конечно, его самого здесь нет (поскольку его убили), и нас на свою свадьбу он не приглашал, но лесные братья в приглашениях не нуждаются, они нанесли ему визит, расправились с ним, а также с невестой, и удалились

в свой дом, чтобы здесь мирно и спокойно отпраздновать день рождения Христова.

Жить лесным братьям становится трудно: истребители и пограничники активизировались, и все из-за этого идиота Ильпа.

Ильп — человек, решивший прославиться безграничной, бессмысленной жестокостью. Он убивает людей, порой совершенно безвинных, причем так: сперва вешает, затем расстреливает, или наоборот и, наконец, четвертует. Скрывается он давно, им даже в деревнях детей пугают. Его всюду ищут, а это плохо не только для него.

Скоро отсюда уедем. В одном укромном уголке нашего острова, у старого рыбака, из тех, кого теперь именуют кулаками, есть припрятанная рыбацкая моторка. Эта посудина должна спасти нас. Весной мы уйдем из этой проклятой страны.

«12 апостолов» — так называет Орас группу лесных братьев, для которых он и есть Христос; это остатки эстонского легиона и омакайтесе[1], не успевшие унести ноги до прихода красных. Есть среди них несколько младших офицеров, остальные лишь кандидаты. Кочует эта группа с места на место, добывая все необходимое грабежом.

Я не всегда с апостолами и живу очень подвижно. Я — связь, я — разведчик, я — Волчонок. Командует нами Орас. Он по-прежнему живет в городе, где удачно замаскировался и имеет кое-какие связи; там, конечно, менее опасно, чем в лесу: здесь того и гляди наскочат истребители или пограничники. Свои инструкции он передает через меня.

■

«Апостолы» ушли «навещать» какого-то красного. Я упросил Рудиса — он в лесу заменяет Ораса — оставить меня дома. Рудис обозвал меня кисейной барышней, но не настаивал. Кальм тоже остался. Он просто сказал, что не пойдет, и все. Он и на свадьбу комитетчика не ходил, вообще он никуда не ходит, говорит, что ему ничего не нужно. Теперь он лежит в другом конце чердака в сене и читает какую-то книгу. Он любит читать, и я даже обокрал одну сельскую библиотеку, чтобы доставить ему, ну и, конечно, себе удовольствие.

Погода препаршивая, дождик поливает. Достанется сегодня «апостолам». И охота им этим заниматься, ведь у нас сейчас всего вдоволь, ни в чем не нуждаемся. Они говорят, что «он», мол, заслужил это. И вот сегодня ночью человек, который сейчас еще жив и ничего не подозревает, умрет. Его повесят, как повесили комитетчика, а его жену, если она есть, или дочь изнасилуют. Это так жутко, когда убивают человека. Он ничего не сможет сделать, чтобы спастись, он совсем беспомощен против стольких вооруженных людей. Я понимаю — надо мстить, но зачем издеваться над невинными? Как страшно кричали женщины, когда вешали комитетчика, когда их насиловали, как они кричали...

Прежде, чем повесить комитетчика, Ян-Коротыш изнасиловал его жену. Комитетчик был связан, в рот ему сунули кожаную рукавичку, и он мог только мычать, но все видел. Остальных, кого застали в его доме, видимо его гостей, загнали в амбар и заперли, кроме женщин, разумеется... А потом его повесили. Это было такое зрелище... Отвратительное, страшное. Не хочу больше такое видеть. Я буду мстить, конечно, рыскать по лесу без

[1] Самооборона.

устали, что угодно могу делать, но на это я с ними больше не иду. Это ужасно!

■

«Апостолы» переменили место жительства и послали меня сообщить об этом Орасу. К моему несчастью, новый лагерь еще удалился от города, и мои ноги это почувствовали прежде всего. Пройти нужно было километров сорок пять, погода была подозрительно хмурая, небо заволокло тучами, предвиделся снегопад. В прошедшую ночь, с вечера до утра, я был на лыжах, ходил к нашему рыбаку по поводу лодки, вернее, мотора — ему не хватает некоторых частей. Вернувшись, я только заснул, как меня разбудили и послали в дорогу.

К полудню, пройдя половину пути, я дошел до зимней дороги, по которой крестьяне из лесу вывозят сено и дрова, по ней мой путь сократился бы на одну треть. Я не совсем хорошо знаю ее, но зимний день короток, и мне хотелось поскорее добраться к печке. Я свернул в лес. После получаса ходьбы вдруг поднялся ветер. И скоро в лесу закружила, завертела вьюга. Быстро стемнело, и я заметил, что иду не по дороге. Ее не было ни впереди, ни сзади. Я продолжал двигаться наугад. Сколько я так прошел, не знаю. Темнота делалась густой, я сломал лыжи, бросил их и шел спотыкаясь, проваливаясь в рыхлом снегу. Вдруг в темноте на что-то наткнулся. Пощупал руками, понял, что это деревянный забор. «Есть забор, должен быть и дом», — подумал я, перелез через забор и нашел дом.

О боже, к печке! Я постучал в дверь, умоляя пустить к теплу, но дом молчал. Я, как лис, ходил вокруг дома, мурлыкая на всякие лады, щелкал соловьем, но дом молчал. Теперь, когда всюду полно Ильпов, вряд ли кто ночью впустит. Тогда, рискуя головой, открыл одно окно и сунулся внутрь. Внутри было тихо и очень тепло. Я залез наполовину и чуть не уснул прямо на подоконнике. В доме не было ни души. Часы на стене показывали двенадцать. Я подумал, если в такое время никого нет, значит, до утра нечего бояться. В кухне над плитой висели симпатичные окорока, в котле обнаружил картошку. Я поужинал, разделся и лег в одну из кроватей в спальне, чтобы культурно выспаться.

Разбудил меня сон. Я видел во сне, что меня схватили какие-то люди и собираются резать. Проснувшись, услышал голоса людей, доносившиеся из кухни, где на столе остались остатки моего пиршества. Одеваться было некогда, но что же предпринять? Что сказать хозяевам? Кто-то вошел в спальню. Натянув на голову одеяло, я притворно захрапел. Вошедший зажег спичку и подошел, по-видимому, к столику, стоящему у окна, через которое я проник в дом. По шагам я понял, что это мужчина. Он зажег еще одну спичку, зазвенело стекло. Я сообразил, что он зажигает лампу-керосинку. Ее я, влезая в дом, тоже заметил на столе. Тут еще кто-то вошел в спальню.

— Ужасная погода, — проговорил удивительно знакомый женский голос и, запнувшись, перешел на шепот, — Рейн, кто это... у нас спит?

Слово «спит» она сказала уже совсем тихо. Последовала пауза. Я слышал лишь их дыхание. Видимо, мужчина, войдя в спальню, сразу меня заметил. «Где я слышал этот голос?» — пытался я сообразить, сжимая рукоятку своего финского ножа.

— Не знаю, — прозвучал неуверенный ответ мужчины и вопрос: — Как он вошел в дом? — Он тоже говорил очень тихо.

— Что же теперь делать? — спросила женщина шепотом.

Опять последовала пауза. Затем мужчина еле слышно что-то сказал, и я слышал, как он тихо-тихо ушел в кухню. Я мигом откинул одеяло и поднял нож. Женщина закричала и попятилась в угол. Из кухни, с двухстволкой в руках, ворвался широкоплечий мужчина.

— Брось это! — закричал он, направив на меня двухстволку.

В это время вскрикнула женщина:

— Ахто! Да это же Ахто, о господи!

Я узнал в женщине Лиль Кеза.

Лиль я видел в последний раз, когда отец уезжал на фронт. До этого я часто бывал у них. Лиль меня жалела и всегда говорила, что она не виновата в том, что отец маму не любит, а ее, Лиль, любит. Я думаю, что это действительно так. Во всем виноват отец. Но его уже нет, а Лиль вот стоит в углу и смотрит на меня широко открытыми глазами. Я начал одеваться. Мужчина молча разглядывал меня.

— Как ты сюда попал? — спросила Лиль.

Я рассказал, одеваясь, как заблудился, как нашел этот дом и как вошел. Мужчина все молчал.

— Где ты был эти годы? — снова заговорила Лиль. — Где твоя мать, знаешь ли ты что-нибудь об отце?

Я сказал, что отца нет, что его убили коммунисты, а мама...

— Отца твоего убили не коммунисты, — сказала Лиль, — он умер в больнице и похоронен на кладбище Тырватласкма.

Я смотрел на Лиль, она была совершенно серьезна, да и чего бы ради ей шутить. Но я не мог в это поверить. Ведь Орас точно знает, что отца расстреляли. Он рассказывал, будто отца задержали раненого, увезли в Таллин, в тюрьму, а затем расстреляли.

— Кто тебе сказал? — спросил мужчина, глядя на меня испытующе.— Кто тебе говорил об этом, про это... про коммунистов?

Я рассказал про Ораса. Мужчина закурил, а когда я кончил, бросил недокуренную папиросу и заговорил: оказывается, он дезертировал из легиона, пробрался на остров и прятался в лесах. В этот период он и познакомился с Лиль, которая жила в деревне Похла, в том самом доме, где мы сейчас разговариваем. Он поселился у Лиль и жил в этом маленьком доме до конца войны. Когда кончилась война, он явился в милицию и рассказал о себе. Ничего плохого он никому не сделал: был мобилизован, был на фронте, ушел с фронта, прятался от немцев. Ну и простили его. С тех пор они с Лиль живут в этом доме. А Лести теперь у бабушки.

Осенью 1944 года в их доме появился отец. Он скрывался в лесах. Было объяснение по поводу Лиль (об этом мужчина не стал распространяться). После этого отец ушел от них. Он вернулся к ним еще лишь один раз, последний раз, глубокой осенью, тяжело раненный и попросил отвезти его в больницу.

Мужчина сам на телеге отвез отца в город. По дороге отец рассказал ему, что находился в лесу с компанией Роосла, что это бандиты, грабившие население, предающие Эстонию. Оказывается, группа эта из-за каких-то разногласий распалась на две враждующие части, которые в один прекрасный день перестреляли друг друга. В отца стрелял Роосла. Лиль и этот мужчина запомнили имя Роосла по рассказам отца.

— А мать твою, брата и сестру отец увез на полуостров Сырве, откуда они двинулись в Швецию. Он хотел и Лиль увезти, вернулся за ней, не нашел (она жила в деревне), а когда нашел, было поздно, да и Лиль... уже не поехала бы. Вот он и остался в лесах, — закончил мужчина свой рассказ.

Я вспомнил слова Ораса: «За отца мстить надо!..»

Утром, перед рассветом, я пришел в город. Город еще спал. На улице Кывер была тишина. Орас, как всегда, был один. Он не удивился моему неожиданному приходу, стал расспрашивать о делах. Не ответив, я спросил, откуда ему известно, что отца убили чекисты. Этому неожиданному вопросу он уже удивился и сказал, что тут и знать-то нечего, отца, мол, забрали, а у чекистов один конец и что в общем сейчас не время об этом говорить. Я не стал слушать дальше и ударил его ножом. Он упал, но лежа ударил меня ногой в живот, теперь я упал, получил чем-то тяжелым в голову и потерял сознание.

Сколько пролежал — не знаю. Когда пришел в себя, было уже совсем светло. Я лежал в крови, голова болела. Ораса не было. Он, вероятно, подумал, что убил меня, и ушел, чтобы не возвращаться. Я нашел бутылку водки, вылил себе на голову, а голову обмотал простыней. Затем лег и вскоре, несмотря на боль, уснул. Проснулся я вечером, когда было уже темно. Я пришел к «апостолам» и рассказал им все, хотя не сомневаюсь, что они присутствовали, когда Орас стрелял в отца. Я им не прощаю, но считаю, что они передо мной не так виноваты, как Орас. К тому же они мне нужны: ведь они собираются уходить из Советского Союза, и я не хочу здесь оставаться. А главное, мне некуда деваться — в Сибири ведь холодно.

«Апостолы» за последнее время со мной очень подружились, и я знаю, кое-кто из них «Христа» не очень почитает. Притом я тоже им нужен, может быть, даже больше, чем Орас. Ведь это я весной, когда они вынуждены были отсиживаться в лесах Тырватлаксмы, по колени в холодной воде, по разливам и болотам десятки километров отмеривал каждый день, доставая им продукты, ходил в разведку, поддерживал связь с нужными людьми. Я знаю, «апостолы» меня в обиду не дадут, я им нужен.

С тех пор уже прошло много времени, а Орас не явился, о нем ничего не слышно. Скоро, наверное, отправимся в плавание. Однако я понял, почему отец назвал их бандитами, предающими Эстонию. Они жадные, им действительно нет дела до Эстонии, до эстонцев. Им безразлично, кого ограбить или убить: коммунисты — не коммунисты, эстонцы или русские — все равно, были бы драгоценности — кольца, браслеты, часы...

Вчера, например, Ян-Коротыш притащил какую-то картину, говорит — дорогая, знаменитого, мол, художника. Можно подумать, большой ценитель искусства... Интересно только, откуда он ее притащил и кого из-за нее убил. Он свернул полотно трубочкой, в трубочку насыпал горсть золотых царских пятирублевок, запихал туда маленькие дамские часики и еще что-то, я только не разобрал что. Я и не стремлюсь подглядывать, просто так получается, что я все вижу, хотя все они стараются прятать свои ценности друг от друга. Я знаю, что у Ораса в чемоданах тоже целые богатства. По-моему, он из-за них и в лес не пришел, боится, что его свои же ограбят. А Рудис, который до сих пор не хочет расстаться с лейтенантской формой и железным крестом, говорит, что непременно обзаведется в Швеции магазином, ему, мол, наплевать, что у отца хутор отняли.

Все мечтают разбогатеть, сделать бизнес. Один только Кальм ходит в миллионы раз заплатанных штанах. И никаких — это я точно знаю — ценностей у него нет. Он всегда молчит, мрачный, лишь дымит трубкой. Остальные над ним насмехаются, говорят, что во всем имя виновато (Кальм по-эстонски — могила). Но он мне нравится. У него никого нет, ни жены, ни детей — погибли от бомбы. Я спросил, что он будет делать в Швеции. Кальм сказал: «Работать». Он был мобилизован в легион, а когда война

кончилась, вернулся на остров и начал работать на хуторе. Но из-за одной девушки он убил своего соседа. И пошел после этого в лес. Мне кажется, если бы не это — он бы никуда из Эстонии не уехал.

Все они расспрашивают меня про Германию, как я там жил, особенно их интересуют бизнесмены, такие, как Чухкади. Послал бы я их всех к черту, только вот некуда деваться, не хочу снова попасть в НКВД, но главное — надо разыскать маму. Вот удивится она, когда я их догоню. Интересно, чем они там занимаются. Лейно, наверное, ходит в школу...

В лесу Тырватласкмы, среди древних высоких сосен, в чьих вершинах морские ветры поют колыбельную тем, кто похоронен здесь, на Святом кладбище, — одинокая могила отца. Я нашел ее, запущенную, заросшую полынью и крапивой. Очистив ее, долго стоял у изголовья. Одни чувства сменяли другие, и я не мог ни понять, ни остановить их. Были жалость, грусть, горечь безвозвратной утраты, упреки... Но ему ведь все равно, его нет...

Нужно достать другую записную книжку, эта исписана до последней страницы. Приобрел я эту книжечку здесь, на родине, путешествовала она со мной по чужим странам и опять вернулась на родину. Стала она мне дорога, хотя жизнь, описанная в ней, не очень хороша. Но это моя жизнь, и если сейчас приходится описывать плохую, быть может, когда-нибудь я напишу о хорошей.

ТЕТРАДЬ ПЯТАЯ
ГОД 1948

Батарея.

О том, что такое Батарея и как я сюда попал, надо писать издалека, а писать приходится на лоскутьях всяких бумажонок. Не беда. Когда-нибудь, возможно, раздобуду свои тетради, а если нет — заведу новые и все с этих бумажонок перепишу.

Итак, 12 апостолов и один Серый Волк, то есть я, должны были отправиться в морское путешествие в лодке, заранее доставленной на полуостров Сырве. Отправление было назначено на 12 июня.

12-го вечером, вернее, уже ночью, в камышах на Сырве, окружив нашу посудину, мы занимались последними приготовлениями. Выглядела наша по библии названная группа весьма грозно: у каждого было какое-то оружие — немецкие винтовки, русские автоматы, парабеллумы, гранаты и даже легкий пулемет. Наконец, все приготовления, которые делались в совершенной тишине, были кончены, и мы уже сдвигали лодку в море, когда раздался окрик:

— Руки вверх! Бросай оружие!

Его сопровождала очередь из автомата.

Все залегли. Мы открыли стрельбу. Застрочил пулемет, кто-то швырнул гранату. Пограничники молчали, и мы стреляли черт знает в кого... Потом мы поняли, что этим не спастись, что нужно уходить в море; несколько человек продолжали отстреливаться, остальные снова попытались сдвинуть лодку. Но тут пограничники сразу открыли бешеный огонь, и трое

из нас повалились на песок. Мы снова стреляли по пограничникам, они опять умолкли, и в темноте их совсем не было видно. Повторилась команда сдаваться.

Я, признаться, не прочь был сдаться. Сказать это вслух, конечно, не решился, но подыхать мне тоже не хотелось.

Я решил уплыть. Только куда девать мою тетрадку? Мои записи... Жаль было их бросать в такую минуту. Я зарыл их глубоко в песок, разделся и тихонько заполз в воду. Плыл, держась параллельно берегу, сзади все еще слышались выстрелы. Очевидно, «апостолы» не собирались сдаваться.

Проплыв километра два или три, я вышел на берег. Вдали выстрелов уже не было слышно, на берегу было тихо, лишь шумел камыш и какая-то ночная птица кружилась вокруг меня. Осторожно, с камня на камень, чтобы не оставлять следов на песке, я зашел в лес и, чтобы согреться, побежал, но, споткнувшись, тут же упал. Не очень-то разбежишься в темном лесу. Углубляться в лес не было смысла — можно было заблудиться, я пошел параллельно берегу. Скоро набрел на тропинку и двинулся по ней, пока не заметил в лесу небольшой домишко. Убедившись, что собак нет, я подошел к домику и стал высматривать, где бы укрыться. Заметив лестницу на чердак, я вскарабкался по ней. На чердаке было сено, я зарылся в него и уснул.

Прожил я в этой квартире целую неделю, спал в сене, столовался у свиньи. Эту особу недурно кормили вареной в мундире, чуть толченой картошкой. Когда хозяйка, вылив в корыто госпожи свиньи ее еду, удалялась, я с чердака спускался, набирал картофелины поцелее и ел в свое удовольствие; но если хозяйка приносила ей кушанье в более жидком виде, мы обедали вместе из одного корыта, причем я убедился, что свинья хоть и нечистоплотная, но весьма добродушная и совсем не скупая скотина.

Раздобыв в доме кое-какую одежду, я вернулся на то место, где была наша лодка, где нас окружили пограничники. Вокруг было пусто и чисто, ничто не напоминало о недавнем бое. Я с трудом разыскал свои тетради и отправился в город, к старому школьному товарищу — Арно. Он был один дома, и скоро я сидел за столом, уплетая все, что он только подносил, рассказывая ему о своих последних похождениях.

Школьным товарищем я называю Арно потому, что все же когда-то я ходил в школу, пусть это было давно, пусть очень мало, но это было, и тогда мы сидели за одной партой и я списывал у него задачки, которые самому решать было некогда.

Теперь я решил оставить у него свою книжку. Самому черту неизвестно, в каких еще морях мне предстоит купаться.

■

Есть в Курессааре учреждение, в которое я частенько, когда были деньги, заглядывал, чтобы полакомиться. Это кофейная, где я проматывал все свои прибыли, наслаждаясь изобретательностью мастеров кондитерских изделий. Я в них понимаю толк. Здесь-то со мной и приключилась беда.

Войдя в первый зал кофейной, я увидел за ближайшим столом трех мужчин в милицейской форме, лица их были мне знакомы, и, что хуже, им знакомо было мое. Тут я сделал то, чему меня тщательно учили в Эгере, — поворот через левое плечо, вышел вон и быстрым маршем удалился; оглянувшись, убедился, что [illegible] тоже быстрым маршем шагают за мной. Я пустился рысью — они тоже, я перешел в галоп — они тоже; тогда я

помчался бешеным скоком и, будто обретя крылья, полетел — на базар, по базару, по улицам города. А за мной летели три длинных милиционера, махая револьверами, и орали: «Гей! Держите! Остановите вора!..» Вот уже какой-то тип попытался подставить ногу. Я его опрокинул и полетел дальше. Но что не удалось одному, удалось другому (типов ведь так много) — я упал. На меня повалилась куча запыхавшихся людей. И что им всем надо было?.. Что я им сделал?..

После этого марафонского бега началась весьма скучная канитель: следствие. Нет ничего противнее и скучнее разного рода вопросов: где был, как жил, где взял, что ел — без конца.

Следователь, пожилой, с седыми бакенбардами капитан, казался добрым, не кричал на меня, говорил тихо, сочувственно.

— Не хочешь сказать — не надо... — Или: — Тебе не нравится этот вопрос? Ну, и оставим его... — Потом он вздыхал и говорил: — Эх, ты, лев, левушка-головушка, и что из тебя будет?

Откуда мне было знать, что из меня будет? И разве это можно знать?

— Жалко мне тебя, — говорил он, — пропадешь ведь ни за грош. Вот посадят в тюрьму, отправят в Сибирь, а оттуда, дружочек, возврата нет.

Об этой самой Сибири я наслышался вдоволь, было похоже, что говорил он правду. Потом он говорил о солнце, которого я больше не увижу, о том, что мне следовало бы учиться, еще что-то о романтике, и мы оба чуть не плакали — так он душевно говорил. А когда он сказал, что, если я умный, я еще могу спастись, — я нисколько в этом не сомневался, как не сомневался и в том, что я умный.

— Нам не так уж трудно найти твои следы, доказать, что ты воришка. Но это, конечно, канительно. Тебя придется держать взаперти, а это и тебе, и мне неприятно. Значит, чтобы тебе было понятно, — ты малолетний преступник, у тебя нет родителей, ясно? (Мне было ясно.) У нас есть тут кое-какие небольшие кражи — некуда их девать. Чтобы мы могли, так сказать, поставить на них крест, ты возьмешь их себе, подпишешь, какая тебе разница? Мы от них, таким образом, избавимся, а тебя, поскольку ты преступник малолетний и у тебя никого нет, ненадолго направят в детскую колонию, а оттуда на волю. У тебя все еще впереди.

Все это было непонятно, но я согласился. А потом я очутился на скамье подсудимых. Скамейка эта самая обыкновенная, деревянная, но сидеть на ней отвратительно. Ощущаешь себя как на сковородке. И оглянуться даже нет ни малейшего желания, хотя слышишь, что сидящим сзади весело: хихикают, жужжат.

Я не помню точно, как прошла эта процедура (все было в каком-то тумане), только помню, что какая-то молоденькая женщина, представитель отдела народного образования, что-то теплое обо мне говорила и во всяком случае плохого мне не желала (за что ей спасибо! Если бы знала она, как я ей благодарен). Потом мне разрешили говорить. Но мне меньше всего хотелось раскрывать рот, да я и не знал, о чем в подобных случаях говорят. Подумал было рассказать, что капитан обманул, но не рассказал: наверное, не поверили бы, и все бы только посмеялись, вот, мол, какой наивный дурак. Им и так было весело, хихикали, жужжали... Тогда один из трех, сидящих за судейским столом, начал что-то читать и читал очень долго, из всего я понял то, что меня присудили к шести годам заключения в каких-то ИТЛ. Что это такое, не знаю, но узнаю наверняка.

После суда, когда меня привели в КПЗ (камера предварительного заключения), я сделал последнюю попытку обрести свободу — заболел. То есть я лишь делал вид, что заболел.

Тюрьмы на острове Саарема нет, а КПЗ своей больницы не имеет. Значит, если я заболею, меня положат в городскую больницу.

Вернувшись из зала суда, я упал на нары и ни с кем не говорил. Мне задавали вопросы, что и как, сколько дали и так далее, — я молчал. Лежал, как палка, смотрел в потолок. Пролежал целый день, не ел, не говорил, мочился под себя. Арестанты вызвали дежурного, сообщили: человек заболел. Дежурный даже не вошел в камеру, сказал:

— Не помрет, видали мы их.

«Больной» пролежал второй день, не пил, не ел, не разговаривал, не шевелился. Арестанты вызвали старшину. Он вошел в камеру, посмотрел на «больного», сказал:

— Не помрет, а помрет — похороним, — и ушел.

«Больной» пролежал третий день, не ел, не пил, не шевелился, не разговаривал и страшно вонял. Товарищи укрыли его шубами, чтобы не вонял, а он все равно вонял. Тогда сокамерники вышли из терпения и забили по двери, требуя принять меры. Меры были приняты. Пришел доктор, залез на нары, послушал у больного сердце; случайно он задел ногу, и тут больной закричал. Доктор еще раз потрогал ногу, и опять больной закричал. Доктор уколол ногу иголкой — больной молчал, он поднял ногу — больной кричал. Доктор сделал понимающее лицо, сказал «Ясно». И ушел.

Затем пришла «скорая помощь», открылась дверь, и в камеру в сопровождении старшины вошли сестры, молоденькие, в белоснежных халатах. Они, как ангелы небесные, окружили больного, подняли его своими нежными ручками, уложили на носилки, вынесли в машину. И вот он в больнице. Его поместили в ванную, осторожно раздели, вымыли, переодели и понесли в палату.

Целых три недели пролежал я в больнице. Доктора не могли никак определить, чем это я, собственно, болею. Созывались консилиумы, признавали разные болезни и, наконец, остановились на детском параличе. И правильно, почему бы мне не заболеть детским параличом?.. Потом жилось мне хорошо, поместили в палату на четвертом этаже, кормили, как на убой. Книги, радио, посещали молоденькие сестры, красивые, хиханьки, хаханьки, но... Мне-то нужна была свобода. Но меня караулили сотрудники милиции. Один отдежурит восемь часов, другой приходит, и так беспрерывно. К тому же, раз у меня паралич, пусть даже детский, я не имел права шевелить парализованными ногами и должен был лежать на спине.

Пролежал неделю — надоело, сказал доктору, что одна нога что-то начала чесаться, появилось ощущение. Тут уж медицина взялась за эту ногу: уколы, массажи, компрессы... и, о чудо! Нога начала шевелиться. Другая еще нет, но одна — да. Скоро я мог сидеть. Потом мне дали костыли и разрешили вставать. Так я приобрел право шевелиться, не вызывая подозрений. Но куда девать милиционеров? Им было весело дежурить: они читали мои книги, слушали радио, заигрывали с сестрами... Нет, решил я, так дело не пойдет, надо, чтобы вы спали. Только милиционеру нельзя ведь спать на посту. Но это было не мое дело. Я сказал доктору, что у меня усилились боли в голове и в спине, и в ногах, что утомляет свет и шум. Доктор живо выбросил книги, закрыл одеялом окно, убрал радио и запретил приходить сестрам — нечего тревожить «больного». И скоро мои охранники начали позевывать. Вот это мне и надо было. Я торжествовал: зевайте, пошире зевайте.

Особенно усердно позевывал один молоденький сержантик, он, наверное, был ненамного старше меня. Я заметил его слабость и начал тренировать его. Как только поужинаю — натяну на нос одеяло и начинаю ти-

хонько посапывать, а потом храпеть, мелодично, вкусно... В один прекрасный день он не выдержал моего храпа, замкнул дверь изнутри, сунул ключ в карман и повалился на свободную кроватку. Скоро храп в палате удвоился. Вот тут-то больной ожил. Он выбрался из постели, подошел к охраннику — спит. Но как взять у него ключ? Это было невозможно — проснулся бы. Я снова забрался в постель, под одеяло, разорвал простыню, пододеяльник, соорудил что-то наподобие веревочной лестницы с узлами. Потом открыл окно, привязал один конец лестницы к батарее центрального отопления, другой выбросил за окно. Я спустился до конца лестницы и остался висеть где-то около второго этажа. Посмотрел вниз — какая-то крыша. Оказывается, я висел над подъездом. Отпустил конец и упал на крышу. Крыша была железная, страшно гремела. С крыши прыгнул на землю, побежал. Куда? Ну, куда должен бежать человек, которому нужно скорее уйти из города? Разумеется, в лес. Все правильно. Но, к сожалению, это же самое сообразили милицейские патрули, поднятые по тревоге. Мое бегство было уже открыто. Когда я приближался к лесу, меня вдруг окружили парни в синих мундирах...

Вот и все.

Ну, а Батарея... это центральная тюрьма Эстонии и Таллина, и называется она так потому, что еще при Екатерине Второй это была крепость, из окна которой тогда выглядывали екатерининские солдаты и пушки, из окон которой теперь выглядывают всякого рода арестантские морды и, между прочим, Серый Волк; он жалобно глазеет на море и, если бы был он натуральным волком, — взвыл бы... А о том, что такое тюрьма, писать нечего. Кому это не известно?.. Ну, а если кому не известно, тем лучше, пусть он никогда этого не узнает.

■

ТЕТРАДЬ ШЕСТАЯ
ГОД 1951

Вдох — выдох, вдох — выдох, вдох... Надо дышать глубже — отлично! Чудесный воздух. Движение и воздух — гарантия здоровья. Впрочем, смотря какие движения... Скажем, те, что нужно делать целый день в лесу, на повале, — они вряд ли гарантируют здоровье, хотя многие чудаки ими увлекаются, несмотря на то, что товарищи судьи отломили им срока по 25 лет. Вкалывают, как черти, думают, наверное, что их так на весь четвертак хватит. Нет, такие движения мне вроде ни к чему. Здесь, конечно, тоже не очень приятно. Правда, клопов нет, откуда им тут взяться — собачий холод и ветер сквозит изо всех щелей. И не заниматься же целый день гимнастикой: от 400 граммов черняшки и жидкой похлебки не очень-то разгонишься. Есть карцеры и потеплее — мне в них приходилось бывать, но в них зато такая вонь от параши и прочей грязи, да и от населения тоже, что не продышишься. Да, карцер, место не из приятных, и все же, невзирая на это, желающие провести тут время находятся. А если бы наоборот? Ну, если чистота, как в больнице, тепло, цветы, мягкие перины, унитаз вместо параши... Еще музыка и хорошая харчовка, и сажали бы сюда в наказание за разные проделки: мол, вот, наслаждайся всей этой благодатью за то, что ты негодяй, и пусть тебя мучает совесть, пусть тебя грызет стыд перед остальными товарищами, которые честно отбывают срок, не нарушают и, следовательно, не могут пользоваться таким комфортом. Наверное, никто

бы здесь не сидел, ну, разве что такие единицы, как я. Это не значит, что у меня совсем нет совести, — она у меня есть, но мне очень не хочется работать в лесу — тяжело. И это не значит, что я слабенький, малосильный. Нет, я даже сильнее многих, но если я буду вкалывать, как эти все чудаки, что из этого получится? Мне дали шесть лет. За шесть лет таких «движений» загнешься совсем. Нет уж, я извиняюсь. Да и вообще я не хочу сидеть в заключении. Можно подумать, что я сюда пришел добровольно, что с умилением обниму топор и не выпущу его даже тогда, когда кончится мой срок... Нет. Я пришел сюда не добровольно и считаю, что уйти отсюда должен добровольно. Мне здесь не нравится. Почему? Потому что... Но это длинная история, началась она еще в таллинской тюрьме — в Батарее.

Это была большущая камера, с чудным сводчатым потолком, как в нашем Куресаарском замке, и двумя выше человеческого роста окнами с видом на море. Если встать у окна, можно увидеть таллинский рейд, а через залив — развалины Пиритского монастыря. Я все время, с утра до вечера, торчал у окна — и воздух хороший, морской, и чувствуешь себя как будто на воле. Если так стоять, спиной к камере, можно совсем забыть, что ты в тюрьме, и только надзиратель то и дело напоминает об этом — все стучит ключом по двери и кричит: «Отойдите от окна!» Противный какой... Ну, что ему от этого станет, если стоит человек, смотрит с четвертого тюремного этажа на море, на чаек, на корабли и Пирита — больше ведь ничего не видно.

Сказать, что народ, населяющий камеру, жил очень дружно — нельзя. Оно и понятно: так сказать, разное воспитание, разные вкусы, разные взгляды на существующие проблемы. А они, эти проблемы, заключались главным образом в еде, есть хотели все, и хотели есть повкуснее, посытнее, ну а проблемы возникали оттого, что у одних еды было больше, чем у других, а поделиться особенного желания «имущий класс» не имел. Вот тебе и все основания к антипатиям и всему прочему. Например, заключенные из русских были в большинстве все бродяги, бездомные; а эстонцы—местные, стало быть, «домные». Такому легче: попался он, сидит, а ему жена мешки с харчами в тюрьму таскает. Русским же мало с воли несли. В камере постоянно возникали разные конфликты, которые разрешались обычно кулаками. «Имущие», например, сами пол не мыли, а нанимали за пайку хлеба кого-нибудь из «неимущих», параши тоже не носили, все за них делали «неимущие». Мне тоже один хуторянин, стянувший на воле колхозное сало, предложил за него подежурить, когда настанет его очередь убирать камеру, обещал дать сала. Я его послал в нехорошее место. Нет чтобы просто так поделиться. А когда драка, спрашивают: «Чего ты нас не поддерживаешь, ты же эстонец?» Значит, когда надо драться — эстонец, а сало жрать — не эстонец. Об этом я тоже сказал.

Здесь я впервые встретил воров в «законе». Одного из них звали Олег и почему-то Румяный, хотя был он очень бледен; другого — Сашка Ташкентский. Ташкентский — кличка, как и Румяный. Они тоже ни пол не мыли, ни парашу не носили. Мне объяснили, что если в «законе», то работать не полагается. Меня это злило: ведь и я вор, почему же мне положено таскать парашу, а им нет? Впрочем, я тут же и объявил всем, что таскать парашу больше не буду, чем заслужил откровенную ненависть «имущих». Что же касается этих «законников», они сперва относились ко мне свысока и насмешливо, но скоро признали меня. Еще бы! Как-никак — международный класс, человек с заграничным специальным образованием. Румяный и Ташкентский начали меня усиленно обучать русскому языку, и я тут же узнал, что «ме-

лодия» — это милиция, «лопатник» — кошелек, а фраер — личность мужского рода, недоразвитая. И еще многое другое.

«Законники», даже если ругались из-за чего-нибудь между собой, все равно честно делились едой, а это, по-моему, очень важно. Наши же «имущие» достойны презрения: жмутся со своими мешками по углам, ни с кем не делятся, даже хлеб тюремный экономят и берегут, пока он у них не заплесневеет. Есть стараются так, чтобы никто не видел, тайком; другие, наоборот, демонстративно разложат свои богатства, словно подчеркивая этим, что они, мол, честные и не стесняются кушать свое добро. Терпеть не могу... Судя по разговорам, попали ни за что: подумаешь, взял со склада в карман гвоздей, а другой — четыре катушки ниток, третий — килограмм муки, все только помалу брали, а сроки им отломили по десять лет и выше. Но я думаю: сегодня кило, завтра кило, каждый день по кило — тонна наберется. Значит, ничем не лучше других. И нечего ломаться. Любил кататься, будь любезен, тащи и сани.

Из тюрьмы нас привезли сюда, так сказать, за тридевять земель, в страну вечного леса и долгих холодных зим. О том, как провели две недели в дороге, в товарных вагонах, писать неохота, это, сказать прямо, невеселая история. На конечной станции приняли нас жгучий мороз и местный конвой. Построившись в колонны, пошли к лагерному пункту.

Этот «пункт» появился как-то внезапно, поредели деревья, и мы очутились у высокого обвешанного лампочками, или, как выразился кто-то из нас, «обламночканного», забора. Ближний угол забора украшала вышка, на которой плясал от холода солдатик в длинной дохе, с автоматом на шее. Начался «шмон» — обыск. После «шмона» открыли ворота и впустили в «зону», то есть на территорию лагерного пункта.

У ворот нас встречала вооруженная палками толпа, которая при нашем появлении сразу загалдела, заревела. Послышались вопросы: «Кто такие? Масть? Воры есть?» Кое-кто из прибывших вышел вперед и тоже спросил: «Какая командировка (лагерь, стало быть)? Воровская или..?» Ответили, что воровская. Теперь начались приветствия, объятия, причем, по-моему, обнимались совершенно чужие друг другу люди. Было непонятно, с чего эти телячьи восторги... Но, видимо, не все население собралось у ворот, эту встречу наблюдали и издали какие-то люди, стоявшие тут и там отдельными кучками.

Олега и Сашку тоже обнимали и тащили в барак. Уже уходя, Олег обернулся и позвал меня. Я пошел с ними. Мне указали свободное место на двухъярусных деревянных нарах, а окружающим, дикого вида оборванным людям, Олег объяснил что-то вроде того, что, мол, я — пацан-воришка, стало быть, молодой «законный» ворик.

На следующий день этап распределили по бригадам: в основном все эстонцы оказались в бригадах, работающих на лесозаводе, а я попал в лесопильную, вместе с Олегом и Сашкой. Это они так устроили, ходили к нарядчику, уговорили, чтобы вместе. И началось, так сказать, трудовое исправление моих преступлений. Всего в бригаде было 29 морд; взрослых воров, кроме Олега и Сашки, не было. Мы трое, конечно, не работали, хотя деньги получали наравне с другими. Да и какие это, к чертям, деньги! Только Сашка и Олег получали больше: бригадир в каждую получку забирал с бригадников почти половину зарплаты и отдавал ворам, они же передавали эти деньги дяде Мите. Дядя Митя — самый авторитетный вор, старый, с бородой: у него хранится воровской «общяк», или «котел», — касса, в которую каждый вор отдавал деньги, собранные с бригад. Этими деньгами во всех воровских лагерях, а иногда и на воле, там, где воры еще живут

организованно, распоряжается воровская сходка, она решает, кому из воров и сколько дать, куда послать и т. д. Из этих денег посылается помощь ворам, находящимся в тюрьмах, карцерах, особорежимных лагерях; из этих денег часть выделяют ворам, освобождающимся или собирающимся в побег. Воровской «общяк», или «котел», — это сердцевина воровской жизни, организованности, вокруг этого «котла» и концентрируется деятельность уголовного мира. Администрация о существовании этого «котла», разумеется, знает, но изъять и ликвидировать его не так-то просто.

Я уже начал было привыкать к новым условиям — к ежедневным проверкам, раннему подъему, к враждебности «работяг», когда случилось непонятное.

«Мужики», конечно, находятся в заключении за разные «дела»: кто жену убил, кто что-то украл (у соседа или у государства), кто за хулиганство, кто за спекуляцию — за разное, но многие сидят по пятьдесят восьмой статье — идет пятьдесят первый год. Эти политические не то что не симпатизируют ворам — просто терпеть их не могут, держатся всегда особняком и смотрят на нашего брата-уголовника волками. Но они вынуждены мириться с диктатурой воров. Однако работают они как проклятые, из этих не встретишь отказчиков, на развод к воротам собираются, словно работа в лесу не наказание для них, а праздник. Держатся воры хотя и дипломатично, но внушительно, всячески подчеркивая свою организованность и силу. И работягам-заключенным, жившим до лагеря обычной трудовой жизнью, людям, чуждым всякого насилия, тем более кровопролития, приходится считаться с этой силой, этой организованностью матерых разбойников. Единственные, кто не хочет признавать власть воров, — политические. К одному такому — звали его Павел Дмитриевич — я как-то залез в барак.

Павел Дмитриевич к ворам относился дерзко, совсем не боялся их, да и воры старались не очень задевать его. Он здоровый, высокий, широкий в плечах, но опасались его воры из-за его авторитета среди «мужиков», боялись, как бы он не взбунтовал «мужиков» против воров. В бараке, где живет Павел Дмитриевич, расположен какой-то лесотехнический кабинет, которым он заведует. Там постель Павла Дмитриевича и книги, много книг, целые полки. Я наугад взял одну со стола и стал листать (читать по-русски не умею), были в ней картинки интересные, и я их вырвал. Тут вдруг пришел он и поймал меня. Я подумал, будет бить — не стал, выхватил у меня книжку и закричал, показывая на первый лист: «Варвар! Дикарь! Что ты наделал! Эту книгу написал я! Понимаешь?!» И он тыкал мне ею в нос.

В эту ночь я проснулся от крика и увидел Сашку, стоявшего в полный рост на нарах. Он отбивался ногами от каких-то людей с ножами. Среди нападавших я увидел Олега Румяного и ничего не мог понять: Олег и Сашка были друзьями — и вдруг... Сашка спрыгнул с нар и помчался к двери, она оказалась запертой. Словно обезумев, Сашка побежал по бараку, выкрикивая: «За что? За что, братцы? За что-о-о?!» Он уже не разбирал, куда бежит, налетел на стол и упал. Сразу несколько человек бросились на него. Он больше не встал. Вокруг, на всех нарах, закутанные в одеяла, сидели «мужики» и, словно загипнотизированные, широко раскрытыми глазами смотрели на происходящее. Я потихоньку спустился на пол и забрался под нары, подумав, что и меня могут убить, мы с Сашкой были друзьями. Но меня никто не стал искать.

Только это случилось, в дверь стали бить чем-то тяжелым. Дверь рухнула, и в секцию с палками, железными прутьями ворвались работяги. Они с ходу напали на тех, кто только что убил Сашку. Началось что-то совер-

шенно непонятное: кто, кого, за что? Меня заметили под нарами и крикнули: «Вот спрятался один змееныш, этот тоже с ними», вытащили и начали избивать. Отступив к стенке, недалеко от окна, я увидел, как Олег Румяный головой вперед выпрыгнул в окно, унося с собой раму, я нырнул вслед за ним и влетел головой в сугроб за окном. Вылез из него и побежал к воротам, успев заметить, что в этом направлении, вслед за Олегом, бежали многие. По всей зоне слышались крики — жуткие и яростные, впереди пробежала кучка работяг, вооруженная кто чем, среди них я узнал и Павла Дмитриевича. С вышек зону просвечивали прожекторами, ворота были открыты настежь, за ними стояли солдаты, принимая выбегающих из зоны.

Мне не удалось добежать до них, какие-то люди, догнав меня, повалили и принялись дубасить ногами, потом, взявшись, раскачали и бросили через проволочную ограду в предзонник. Я упал на острый, торчавший из земли кол, стало нестерпимо больно. Боясь, что в меня выстрелит часовой на вышке, я закричал. Он не выстрелил, велел подняться и идти к воротам. Там меня приняли солдаты и втолкнули в толпу полураздетых, прыгающих, топчущихся, стонущих, проклинающих всех и вся людей. Потом нас всех одели и увезли на другой лагерный пункт. За что я сюда угодил? Никому ничего плохого не сделал — и на тебе.

Когда я спросил об этом начальника колонии, он удивился: «А вы не догадываетесь?» Разумеется, я не догадывался. «Вы считаете, вас сюда привезли несправедливо?» — спрашивает он снова. Еще бы! Меня же избили, из зоны прогнали, на строгий режим привезли, а я же ничего не сделал, никого не тронул. «То, что вас побили работяги, понятно, — сказал капитан, — вы сидели на их шее, им надоело терпеть ваше паразитическое отношение, вот они и выгнали вас. И правильно. Вот вы почему не работали? От вас ведь больше ничего не требуют: повиновения и работы. Но вам у костра понравилось сидеть. Почему вы связались с этими отбросами общества, с которыми нам мороки и без вас хватает? Потому что ищите легкой жизни. Но заключенные, работающие в лесу, не хотят, чтобы вы бездельничали. Теперь, когда вас нет, в зоне будет замечательный порядок. А вас сюда, здесь будете работать. Не захотите и здесь работать — на особый режим пошлем. Сколько бы вы ни вертелись, а работать все равно придется. И если вы не совсем дурак, дойдете до этого самостоятельно».

Он еще многое говорил и о молодости моей, и о том, как им нелегко справляться с нами, мешающими нормально работать и жить другим заключенным; о том, что все это скоро искоренится, не будет со временем воров, и все такое. А Олег мне потом объяснил, что Сашка Ташкентский был, мол, «ершом» — предателем, значит. «Ерш» — человек, когда-то изгнанный из воровского сословия, так сказать, лишенный звания, но продолжающий выдавать себя за вора «в законе» там, где его не знают. Такое у воров карается смертью. А Олег все-таки сволочь. Он все насмехается надо мной:

— Говоришь «волком» тебя прозвали? Да какой же ты волк! Смешно — барашек ты. Волком надо еще стать, милый... А это не так просто. Ты хоть кого-нибудь убил за всю жизнь? Нет? Ну, видишь, какой же ты волк?.. Ты еще и понятия не имеешь, что такое волчья жизнь...

Но мне казалось, что я имею полное представление. И эта «волчья» жизнь мне страшно опротивела. И когда уже совсем потеплело, растаяли снега, я сбежал.

Бежал из-под конвоя, когда шли колонной с работы, и не один, нас было четверо. Произошло это совсем неожиданно, хотя я давно к этому готовился. Но каждый раз, когда я доходил до окна в лес — до места, где

надо было рвануть, какая-то необъяснимая сила сковывала мои ноги, и я, как миленький, приходил в зону вместе со всеми.

Однажды мы шли с работы, я, как всегда, в первых рядах колонны (впереди три-четыре ряда). Шли по три человека в ряду. Еще за километр от «окна» в лес начинаю себя подбадривать. В горле делается сухо. Кого-то догоняю, обошел. Сзади уже застрочили автоматы, слышны крики: «Ложись! Ложись!» — это колонне, «Стой! Стой!» — это нам. Вокруг свистят пули, щелкают о землю, режут ветки низеньких зарослей, кто-то из впереди бежавших, перекувырнувшись, упал; но уже кусты — лес. Лечу, как на крыльях, а сзади все стреляют. Теперь не опасно, нужно только отойти подальше. Вот и нужная поляночка, быстро достаю из карманов два пузырька с бензином, смазываю ботинки, ноги, чтобы сбить со следа собак, бегу дальше.

Я убежал, да. Но до реки не дошел, к утру догнала меня собака. Она, разумеется, не одна, компанию ей составили два длинноногих солдата-проводника. Конечно, встреча была радостная... Первой обнаружила меня, как уже говорил, собака; она вырвалась от проводника, еще издали посылая мне свой радостный собачий привет. Проводник, видя, что я еле перебираю ногами, спустил ее с поводка. Это дало мне повод прибавить шагу, и, мобилизовав последние силы, я помчался со скоростью этой же собаки, не обращая внимания на хлеставшие по лицу ветки, на пни, об которые в кровь избил почти босые пальцы (ботинки за ночь превратились в отрепья). Но собака все-таки бежала немного быстрее меня, и скоро я вынужден был признать себя побежденным, остановился, повернулся к ней...

Конечно же, после того как меня привели в колонию, пришлось некоторое время разделять общество милых клопиков в карцере. Обошелся мне этот побег по вольному воздуху наперегонки со страхом в один год добавочного срока с обязательным переводом в колонию особого режима, где и записываю эти строчки.

Участь тех, кто бежал со мной, такова: двоих сразу же настигли пули, третий заблудился в тайге и к утру вернулся сам.

■

Впереди болото, сзади лес и еще «они». У меня нет выбора, надо идти через болото, потому что за ним — река. А река — спасение. Лес кончился как-то вдруг, на краю прекрасного зеленого луга. Это он только с виду прекрасный и только кажется лугом — под сочной высокой травой, я знаю, бездонная трясина, и как через нее пробраться, одному дьяволу известно. Страшно делать первый шаг, и страшно его не делать, «они» ведь все приближаются. Измотался я за эти три дня совсем, думал уже, что не доберусь до реки, а тут еще болото. Три дня беспрерывного бега по дикой тайге, если это можно назвать бегом, — через овраги и горы, через буреломы и трясины; иногда на четвереньках, иногда юзом на изодранном заде. «Их» я услышал рано утром, перед восходом солнца, когда в тайге еще совсем тихо и всякий звук несется далеко, словно эхо. Я услышал собачий лай и сразу понял, что это «они». А я уже совсем было успокоился, думал, что оторвался от них.

Следующий день и ночь бежал без отдыха, чтобы поскорее добраться до реки, где надеялся снова замести след. И вот — болото.

Долго выбирать было некогда. Правая нога сразу провалилась по колено. Перенес быстро тяжесть тела на левую, но поздно — она тоже провалилась. Недалеко, почти рядом, спасительная твердыня — куст ольша-

ника. Но не достать. Стараясь ухватиться за ветку, протянул руку и от движения провалился в трясину до пояса. Но рука все же успела схватить ветку. Выдержит или нет? Все попытки выбраться из трясины кончаются неудачно. Чем сильнее барахтаюсь, тем глубже засасывает. А силы все убывают. И страх... Нельзя дать ему волю — иначе потону в этой липкой вонючей грязи, как гадина болотная. Что теперь стоит моя свобода? Говорят, когда человек тонет, вся минувшая жизнь проходит перед его мысленным взором. Но я вижу только солнце, которое поднимается все выше, листья, деревья, траву, птиц и слышу стук собственного сердца. А оно бьется все спокойнее, отдохнуло и от напряжения, и от страха. Нет. Это еще не конец. Осторожно передвигаю ногу и вдруг ощущаю что-то твердое — камень. Потребовалось невероятное усилие, чтобы выбраться из трясины. Весь в липкой грязи, жадно прерывисто дыша, ползу обратно в лес. Надо бежать вдоль болота, может, удастся где-то пробраться к реке. О, добраться бы к ней, к реке! Кажется, вся надежда в ней. Она — спасение. Пролаяла собака, звонко, отрывисто, далеко, еле слышно. Может, снова показалось? Бегу изо всех сил, дыхание тяжелое, хриплое. А вот камыши и почва — слава богу, не болотистая. К реке! Быстрее! Сзади слышен визг — собака. Дошла, значит. Догнали. По спине бежит пот, от страха, от усталости. Мерзкое ощущение.

Да, действительно, ощущение мерзкое, хуже и придумать невозможно, а когда по тебе стреляют — тоже не самое приятное ощущение, а когда при этом в тебя попадают... Но это еще ничего, но вот когда ты лежишь, не в силах подняться, потому что нога твоя, та самая, в которую попали, онемела от страшной обжигающей боли, а реку уже переплывают люди, те, кто в тебя стрелял, и с ними еще собака... и ты лежишь, и думаешь о том, как они будут себя вести, особенно как будет вести себя собака, когда они все переплывут реку, — неприятное ожидание, надо сказать. Собака, крупный, серый красавец, добежала до меня первая и, тихо рыча, встала надо мной. Я лежал смирно, без малейшего движения, и смотрел ей в пасть, которую она, словно для того, чтобы я смог пересчитать все ее зубы, держала открытой. Она не делала ни малейшей попытки укусить меня, она будто понимала, что мне и без того больно, и только угрожающе рычала: не шевелись, мол, со мной шутки плохи. Прибежали «они», мокрые, усталые, злые, как всегда в таких случаях.

— Ранен? — переводя дух, спросил один, высокий, худой, или, как это называется, сухопарый, с веснушками на лице. Его серые глаза не выражали ничего, кроме профессионального любопытства и усталости. — Куда ранен? — и, узнав, куда: — Так тебе и надо. Черт тебя побери... Ну, что глазеешь? — рявкнул он невысокому курносому парню, который действительно рассматривал меня с таким вниманием, словно перед ним лежал не человек (пусть даже жалкий, обросший, скривленный от боли), а по меньшей мере гиппопотам. — Разведи костер, обсушиться надо.

Сидя у костра, веснушчатый все читал мне проповедь насчет бессмысленности моей жизни и побега тоже. Они мне рассказали, что одного из тех, кто был со мной, убили — Джека. Джек — вор, он до этого бежал три раза, в последнем побеге изнасиловал малолетнюю девочку, и ему дали на всю катушку — 25 лет. Джек ненавидел все на свете, особенно труд. Он всегда говорил: — Труд подневольный, братишки, не любит даже лошадь, а почему я в этом смысле должен быть глупее этой скотины? — Джек требовал свободы, а получил пулю.

— Ну вот, мы тебе попали в ногу (ногу они, кстати, перевязали), а если бы в голову — все, шабаш, — веснушчатый все продолжал агитиро-

вать. — Твое счастье, что ты такой длинный и голова все же значительно выше ног... И вообще, завязать бы тебе, парень, пойти в бригаду, к работягам. Ты молод...

И пошла мораль. Он все поучал, а я виновато, словно обдумывая его слова, смотрел в костер и молчал. А что тут обдумывать, каждый знает, на что идет. Знал и я, что если побегу, будут по мне стрелять. Уговорами ни одного беглеца не вернешь.

И то, что свобода Джека чье-то несчастье, тоже верно. Но ведь я-то лично не хочу никого убивать, насиловать, я просто не хочу быть здесь. Работать? Джек, конечно, негодяй, но относительно подневольного труда он вообще-то прав: тяжело же в лесу. А в зоне... Да ведь в зоне мне не бывать, раз я не хочу работать — в карцерах мне обитать, и только. А там сволочь разная. Еще недавно сидел 10 суток с одним... даже не знаю, как его называть. Грязный, опустившийся, противный, вонючий, звероподобный. Тебе от него деваться некуда, ты вынужден спать рядом с ним, а он не просто неприятен, он гадок, омерзителен. Но ты не можешь ему этого сказать, не можешь избежать его общества, даже спать ты должен рядом с ним, слушать его сонное звериное мычание, смотреть, как изо рта его текут слюни; все должен терпеть, потому лишь, что работать ты не хочешь так же, как он. И если ты ему что-нибудь скажешь, он ответит: «Чево тебе надо?! Ты такая же сволочь, как и я. Не нравится — отвернись». Конечно, ты можешь набить ему морду — это уж он ложно не истолкует. Но если он сильнее тебя? Значит, будешь ты еще и побит. А человеческое достоинство?

— И куда бежать-то? — говорил веснушчатый. — Дальше Советского Союза не убежишь, а здесь все равно поймают. Лучше бы набраться терпения и силенок да по-честному отработать положенное, а тогда — будь здоров, иди на все четыре стороны, и мне за тобой бежать уже не придется. А так вот... лежишь теперь. Больно? — Я сказал, что больно. Тогда веснушчатый приказал курносому отправиться в деревню.

— Ну, высох малость, иди приведи людей. Надо же его доставить в село. Куда ж он сам... И таскать тебя еще теперь... — последнее он адресовал уже мне. Я промолчал.

— Еще побежишь? — спросил курносый, вставая от костра. Я опять промолчал. А что отвечать? Сказать «да» — еще не известно, как они на такой ответ отреагируют. А зачем портить отношения? Сказать «нет» — вряд ли они поверят. Сам я уж, во всяком случае, в это не верю.

— Беги, — разрешил курносый великодушно, — твое дело бежать, наше ловить. Поймаем.

Он ушел в деревню, мы остались с веснушчатым вдвоем.

— Почему бежал? — уже в который раз спрашивал он. — Что тебя заставило?

— Да так, плохо все, — отмахнулся я от ответа.

Да разве объяснишь? И сам не поймешь толком. Что происходит?.. Вспоминается иногда детство, когда в первый класс ходил, когда кличку себе взял — «Серый Волк», просто так взял я ее, для игры в индейцев, а теперь я уж и всерьез волком становлюсь. Вот меня уже и собаками травят. Странно даже думать, что где-то невообразимо далеко есть свобода и живут там мирные люди, ложатся спать, уверенные в собственной безопасности, ножи применяют лишь для того, чтобы резать ими хлеб...

А здесь недавно проснулся от жуткого крика, соскочил с нар, перепуганный, еще сонный, а кругом смеющиеся над моим страхом рожи. Оказывается, просто боролись двое, дурачились. А я до утра глаз не сомкнул,

дрожал противной дрожью. Когда будет этому конец? К дьяволу всю эту жизнь и воров! Но нельзя мне сейчас от них отделаться иначе, как бежать из этого проклятого места!

■

Последняя прогулка (160 километров) обошлась мне еще в два года добавочного срока с переводом на тюремный режим да еще в пятнадцать суток карцера.

■

ТЕТРАДЬ СЕДЬМАЯ
ГОД 1954

Тарту. «Астория».

Не хочу сказать, что мне сейчас очень хорошо, но и не плохо: имеются деньги, одет прилично, занимаю уютный номер («Астория» — гостиница) и, разумеется, сыт.

Как известно, за предпоследний побег мне прибавили (за последний еще не успели) два года и на такой же срок определили в тюрьму. В то время, когда на воле происходили такие события, как смерть Сталина, арест Берия и амнистия, которая мне, к сожалению, ничего не дала, я с утра до вечера, словно бешеный волк, бегал по своей клетке, радуясь каждому прожитому дню. Отбывал тюремный срок в Кировограде, там, между прочим, отказался от воровского звания и стал официально именоваться «мужиком», за что чуть не поплатился жизнью, хотя ничем не провинился перед «господами ворами»: ведь по правилам воровской жизни каждый имеет право уйти из этой жизни — «завязать». Но, увы, законы воровской жизни все неписаные, а если, бывало, извращались законы писаные, то...

Защищаясь, я убил крышкой от параши одного из нападавших на меня. Случилось это при обстоятельствах, на этот раз меня оправдывающих, почему оправдало меня и общество в лице следственных органов и тюремной администрации. Будь это иначе — распрощался бы я с белым светом, потому что закон «смерть за смерть» — как и другие законы, пришедшиеся ворам явно не по вкусу, — уже вышел.

После отбытия тюремного срока меня повезли обратно в лагерь. По дороге в одной пересыльной тюрьме раздобыл из женской камеры кое-какие принадлежности дамского туалета. Эти вещи удалось пронести в зону, и они мне пригодились.

Работали в карьере на погрузке песка. Я вынес и спрятал там свой реквизит, а однажды, когда за составом подъехал паровоз, погрузил себя в вагон с песком и удачно выехал в Канск. Забравшись в пустой вагон, превратился в крестьянку. Убедившись, что все на мне более или менее правильно, стараясь держаться как можно более по-женски, я пошел на вокзал, пробрался в нужный поезд, Новосибирск—Ленинград, и поехал (зайцем, разумеется). Сначала все казалось, что люди меня рассматривают, будто я по меньшей мере нильский крокодил, и чувствовал себя скверно, однако скоро научился держаться подобающим моему положению образом. В поезде познакомился с девушкой, отсидевшей три года в заключении за растрату, она ехала теперь домой — в Нарву. Мы с ней подружились.

В вагоне ехали солдаты-пограничники, молодые, веселые ребята, они нас, девчат, всю дорогу не переставали угощать то тем, то другим и, конечно, водкой, чего я — упаси боже! — не пила...

В Ленинграде мне надо было разыскать семью одного паренька, передать от него письмо. С подружкой расстался. Семья моего знакомого жила на Лесном проспекте, состояла из мамы и дочери. Не стану описывать их безмерного удивления, когда на их глазах произошло мое превращение из женщины в мужчину, а также радость, когда я передал им письмо.

Прожив два дня в Ленинграде, поехал в Таллин. Но тут не знал, чем заняться. Оказывается, бежать легче, чем устроиться на воле. Околачивался несколько дней по вокзалам, затем, снова зайцем, поехал в Пярну. И вот здесь не было бы счастья, да несчастье помогло.

Вагоны Таллин-Пярнуской узкоколейной железной дороги имеют ту исключительно неудобную для зайцев особенность, что во время езды из них никуда не денешься без риска сломать шею; ни пойти в другой вагон, ни выйти в тамбур нельзя, потому что тамбура нет. Из-за этого обстоятельства я попался ревизору. Он потребовал у меня билет. Билет я, несмотря на все усилия, найти не мог и высказал предположение, что, наверное, потерял его. Ревизор, однако, не успокоился и посоветовал мне поискать заодно и паспорт, который я тоже, конечно, несмотря на то, что вывернул все карманы, не обнаружил. Тогда этот бездушный чинуша позвал милиционера. Конечно, милиционер оказался тут как тут. Серого Волка с поезда сняли и потащили в отделение железнодорожной милиции.

В отделении, прямо у вокзала, сидел и сладко дремал дежурный. Нашему появлению он, судя по его заспанным глазам, не очень обрадовался. Еще по пути в отделение я усиленно придумывал себе происхождение, ведь положение мое было не из приятных. И придумал. Я выдал себя за одного эстонца, освободившегося всего лишь за несколько дней до моего побега, и сообщил его фамилию. Итак, я освободился, ну и, видимо, потерял документы.

Дежурный, зевая, все это выслушал и повел речь:

— Вот что, миляга, жить без документов худо (в этом я уже убедился). — Он стукнул ладонью по столу, открыл рот в широком зевке и продолжал: — Долго не проживешь, а скрываться тоже нет смысла, ты еще ничего плохого не сделал. Значит, езжай куда хотел, объявись в милиции и расскажи обо всем. Смотришь, документик и дадут...

Мой поезд еще не ушел. Дежурный посадил меня в вагон, и я поехал. Видимо, здорово он хотел спать.

Конечно, я мог сойти на любой станции, но подумал, а что, если поступить так, как советовал мне этот соня?.. Вероятно, он сообщил в Пярну о моем приезде; а если так — ну и пусть, разве кто подумает, что хоть один нормальный беглец сам явится в милицию? Милиция полагает, что беглец норовит в лес, во всяком случае старается быть подальше от милиции.

Поезд прибыл в Пярну утром. На перроне я заметил милиционера. Они кого-то высматривали среди пассажиров, возле крутился ревизор. Я не ошибся, полагая, что они стараются обнаружить именно меня, и сам направился прямо к ним. Подойдя, превежливо осведомился, как пройти в отделение милиции. Они поинтересовались, зачем мне это надо. Я удовлетворил их любопытство, затем они привели меня в отделение.

Итак, я сдался на милость милиции, просидел в отделении целый день и врал, как заведенный, устно и письменно. Допросов произвели безбожно

много, в перерывах играл в шахматы с дежурным и съел его обед, которым он меня угостил. Вечером ввели меня в кабинет, где сидел солидный майор. Он сказал мне:

— Мы знаем из ваших слов, что вы такой-то, но, чтобы это проверить, понадобится немало времени. Положено вас задержать, чего мы, однако, делать не будем. Вы ведь уже насиделись? (Я согласился.) Мы, — продолжал он, — выдадим вам справку о том, что вы заявили нам о потере документов, и больше для вас ничего сделать не сможем.

Этого было достаточно. Получив эту справку, я поехал обратно в Таллин и начал наглеть. Наглел так: пришел в управление городской милиции и потребовал выдать мне паспорт. Но с меня потребовали ворох справок: с места жительства, с места работы, метрическое свидетельство и т. д. Тогда я пошел в Министерство внутренних дел, где повторилось в точности то же: выгнали. Что делал бы на моем месте действительно освободившийся человек? Наверно, пошел бы к прокурору. Ну, нет... К прокурору я не пошел (бродяге можно быть наглым, но умеренно). Я поехал в один колхоз, уговорил председателя, и он меня принял лесорубом — работа в общем знакомая. Таким образом из сельского совета получил все необходимые справки и свидетельства, и через неделю мне выдали в районном отделении милиции паспорт на шесть месяцев. Затем я из колхоза смылся, ибо нельзя знать, сколько могут жить в Советском Союзе два одинаковых по паспортам гражданина.

Теперь езжу по гостиницам. В каждой живу по три дня. Пригодилась и квалификация, которой меня выучил Джимми. Оснащен я первосортной техникой: есть собрание отмычек, есть гримировочные приспособления, позволяющие на ходу изменить свой внешний облик: могу превращаться из шатена в блондина или наборот; могу среди зимы, как цыган, загореть или среди лета приобрести бледность чахоточного; могу стать чересчур упитанным, курносым, хромым, говорить любыми голосами, какие потребуются; и все эти изменения личности проделать всего за минуту. Все хорошо, только иногда одолевают мысли: милый друг, ведь ты на скользкой дороге, ведь это же она и есть, та самая скользкая дорога, о которой говорила мама... Ворованная воля. И еще у меня глупая привычка, давно с нею борюсь, но побороть не могу — внимать народным поговоркам и пословицам, из которых одна гласит: сколько веревочке ни виться... Вот дьявол! Глупая же привычка.

■

Худшее, что со мной могло произойти, была встреча с Орасом (или кто он теперь?). Встретились в Таллине, в зале ожидания Балтийского вокзала. Ему, по-видимому, живется неплохо: жирная морда сияет этаким барским самодовольством. Он, конечно, знал, что я выслан в дальние края. Очевидно, живет он, не опасаясь ничего, и вполне акклиматизировался; ясно и то, что он всеми силами будет стараться ликвидировать опасность, появившуюся в моем лице. Узнав, что я недавно освободился, он пожелал помочь мне устроиться, от чего я поспешил отказаться. Между нами произошел почти откровенный разговор, и я узнал, что он «сила», что не мне с ним бороться; услышал изречение: «Кто не с нами — тот против нас», и логический вывод из этого: «Кто против нас — подлежит уничтожению»... Не забыл он обрисовать и распрекрасную жизнь тех, кто с «нами»...

Я категорически отказался от всех благ и заверил его, что и в мыслях не имею бороться с ним. На том мы и расстались. Очевидно, теперь надо опасаться не только милиции.

■

Приобрел кое-каких приятелей. Один из них, Рест, состоит на «службе» у крупного спекулянта, руководящего работника торговли Пузанова. Фамилия очень подходит этому человеку. Пузанов — крупнейший мошенник и спекулянт, несмотря на почтенный возраст (ему пятьдесят пять лет) и семейное положение (жена, две дочери и сын), он еще и величайший развратник, понимающий толк в молодых женщинах, как я в кондитерских изделиях. Только при его положении в обществе любовные шуры-муры нужно делать очень осмотрительно. Поэтому он содержит пять квартир в разных городах республики: в Таллине, Тарту, Пярну, Хаапсалу, Выру.

Роль Реста такова: когда Пузанову надоест очередная любовница, во избежание неприятных осложнений появляется молодой, красивый друг старого, некрасивого Пузанова, конечно, тоже с деньгами (деньги Пузанова же), и начинает успешно ухаживать за дамой. Скоро он ее увозит, а Пузанов тем временем заводит новые шашни, и все повторяется. Живет Пузанов в Тарту. На его столах всегда имеются вкусненькие напитки, и нам, мелким рыбешкам, от него кое-что перепадает.

Рест знает неплохо и слесарное дело, и мы порой вдвоем путешествуем по гостиницам. Он, оказывается, звезда для многих «слесарей» в Таллине и в Копли пользуется немалым авторитетом. Через него я познакомился со всеми представителями того класса, для которого я теперь, конечно, «ерш», и, если это станет известно, могут возникнуть неприятности. Но моя жизнь только из них и состоит.

Коммерческие дела привели меня в Пярну. Там ко мне подошел некий Лонг, наружность и манеры которого истинно британские. Представившись с церемонностью лорда, он заявил, что уполномочен предупредить меня от имени Ораса — я должен примкнуть к ним. Три дня он считал достаточным для размышлений. Если я приму разумное решение, то через три дня меня будут ждать в доме № 193 по Рижскому шоссе. Я уехал в Пярну в тот же день.

■

Если человек хочет пить, он может напиться из колодца; если он хочет есть — он должен купить себе еду. А если у него нет денег и он не хочет умереть с голоду, он должен идти и зарабатывать.

Зарабатывать я не могу по простой причине — не умею. Ведь я не могу стать директором хотя бы цементного завода, а грузчиком там же — не хочу, потому что работа эта тяжелая, — черт побери! — а зарплата маленькая. Но я умею рисковать, а риск — дело благородное. Разве не так? Подумаешь — директор! Профессор! Инженер!.. Оно, конечно, звучит, но нет романтики, живой жизни. Ну, учились они, университеты кончали, учеными стали, а потом все одно и то же и до самой смерти — научная или другая какая-нибудь работа. Нет, это не жизнь. Мне тоже нелегко, можно и голову потерять, не говоря о свободе. Но зато какая это прелесть — сознавать, что ты волен урезать зарплату этих вот адвокатов, директоров в то время, когда они находятся в царстве сновидений... И думаю, это даже справедливо: они так привыкли получать регулярно зарплату, так привыкли к постоянным доходам! Бедные... Мне их жаль. Им тяжело с их деньгами.

К тому же деньги развращают человека, если у него их много, делают его рабом своих настроений: не замечает он природы, не наслаждается музыкой, встает поздно, он теряет интеллект и здоровье. Конченный человек. Поэтому я считаю, что совершаю по отношению к нему акт благородства, облегчая его кошелек, заставляя его немного поволноваться, к тому же он не обеднеет — еще заработает.

Существуют люди, которые информируют воров, сообщая им, где что есть и как это «что» взять. Это хорошо для тех, кто живет более или менее постоянно, то есть в определенном районе, в определенном городе. Если же ты не можешь жить в определенном районе, в определенном городе, если ты должен постоянно менять место проживания — не так-то легко найти этих самых накольщиков. Поэтому мне пришлось разработать несколько систем работы.

Первая — гостиницы, система простая; вторая — квартиры, несколько труднее; третья система — дорога, и это уже самое трудное, хотя прибыльное. По третьей системе я попросту останавливал такси на международных трассах, а когда случалось, и частные машины. Определяя на взгляд «стоимость» пассажиров, я сопровождал их иногда по несколько километров, затем, после недлительного знакомства, отпускал восвояси.

Третья система трудна, во-первых, потому, что можно нарваться на опасных, возможно даже вооруженных, пассажиров, а во-вторых, конечно, из-за милиции. Из-за ее существования третью систему нужно проводить таким образом: сделаешь операцию на одной магистрали (желательно недалеко от перекрестных дорог, чтобы было удобнее удирать, или неподалеку от леса, где тоже можно скрыться) и исчезнешь. Пока тебя ищут в одном районе, ты уже в другом. Эстония — страна маленькая, но дорог в ней много, и они достаточно длинные.

Как-то, например, утром рано я поджидал очередную жертву на трассе Выру—Тарту. Расстояние от Выру до Тарту прилично — 70 километров. Подъезжает такси. Останавливаю, спрашиваю, куда едет. Пока мне отвечают, вижу — пассажиры бедные. Такие в год раз, с большим ущербом для семейного бюджета, ездят на такси.

— Не по пути, — отпускаю.

Подъезжает другая — такая же. Потом через полчаса показывается третья. Останавливаю — есть. В машине три дамы — толстая, худая и рядом с шофером средненькая. Толстая и худая обвешаны всякими дорогими безделушками, словно новогодние елки, третья, рядом с шофером, — личность серенькая. Говорю: «по пути» — и, влезая в машину, усаживаюсь рядом с толстой.

Едем. Игрушки этих двух — крик последней моды, реклама благополучия. Завожу разговор... про погоду сначала. Потом спрашиваю, издалека ли едут дамы. Оказывается, они едут из Пскова... на такси, конечно. Это значит 80 плюс 70. А из Тарту они собираются в Вильянди — тоже 80 и тоже на такси. Ищут, где провести лето. Толстая — жена директора какой-то псковской фабрики, худая — жена профессора, который изучает каких-то болотных жуков. А такси, между прочим, транспорт не самый дешевый... Что ж — можно действовать.

Доехав до удобного места, прошу шофера остановить, затем достаю «удостоверение личности» — пистолет и говорю, что я молодой, подающий надежды студент, которому не хватает денег на покупку собственной машины, что без нее я жить не могу, отсутствие машины очень влияет на мою учебоспособность и может помешать мне стать ученым, от чего в конечном счете могут пострадать жуки, которых я, возможно, тоже буду изу-

чать в будущем. Дамы слушают в изумлении, шофер парализован «удостоверением». Наконец дамы, моргая глазами, спрашивают, что мне нужно. Какая несообразительность! Я уже полчаса об этом толкую.

— Деньги! — рявкаю я и делаю такую страшную рожу, что и самому делается жутко. Вот тут-то и начинается...

Я подумал, будут мольбы, просьбы, уговоры, плач — ничего подобного. Ругаются. Похабнейшая ругань, кроют матом, настоящие извозчики. Только деньги все равно дают. Они их швыряют на шоссе. Серенькая личность тоже там что-то ищет, но я ей приказываю не искать — надо же и совесть иметь. Отпускаю их. Это и есть третья система.

И вот на этой самой третьей системе я страшно погорел.

Денег совсем не было, а было воскресенье и машины не ездили, и воровать было негде, и голоден я был, как истинный волк. Решил я поймать овечку и скушать. Вышел из города, ждал час, другой — машин нет. То есть машины-то были, но грузовые. Наконец, через час, показывается такси. Останавливаю. Пассажир — женщина. Еще молодая, миловидная, но видно, состоятельная. Признаться, не люблю сдирать шерсть с таких хорошеньких, но сейчас выбирать не из чего, а я умираю с голоду, да и борода... растет, проклятая, и в бане не был давно. Нет уж, придется тебе расстаться со шкурой, милая овечка. Сажусь с ней рядом. Едем...

Она неразговорчивая. Ну и ладно, черт с ней, к чему мне твоя автобиография — все равно шкуру сниму. Едем. Молчим. Подъезжаем к удобному месту: перекресток четырех дорог. Прошу шофера остановить и говорю, что я человек, привыкший роскошно жить, на что нужны большие средства, и так далее. Она меня тоже не понимает. Овечки никогда не понимают, когда с них хотят содрать шкуру, а когда им растолкуешь это, не понимают — почему. Непонятливый народ. Объясняю точнее. Ну вот, поняла. Не испугалась, просто глаза удивленные. Достает деньги, культурно подает, не ругается, снимает часы, но я говорю — не надо, часы ни к чему, их еще надо продать, а это мне ни к чему. Потом она говорит:

— Прошу вас, садитесь, пожалуйста, в машину. Мне хочется с вами поговорить. Вы не бойтесь, я ничего вам сделать не могу. Вы же вооружены.

Шофер молчит. «Чудачка, — думаю, — что тебе еще надо? Отдала шерсть и ладно, поезжай». Но любопытно. Говорю шоферу:

— Не больше пятнадцати километров в час. — И сажусь в машину.

Едем, молчим. Потом она заговорила...

■

Того, что она говорила, записать не могу. Не потому, что не помню. Все помню, даже очень. Она просила рассказать о себе — я врал; она умоляла оставить это занятие — я смеялся; она просила явиться с повинной — я еще пуще смеялся; она рассказывала очень неприятные вещи о моей жизни (откуда она ей известна?), про совесть, про любовь, про честь — я смеялся; и тогда она открыла сумочку, достала еще денег, подала мне и сказала: «Я вам отдала не все деньги, вот остальные. Мне не денег, мне вас жалко», — и попросила шофера остановить машину. Я не смеялся. Машина остановилась. И я, как дурак, вылез из нее. Здесь я заметил, что она плачет. Машина сорвалась и уехала, а я...

Мне было очень плохо. Я швырнул в болото пистолет и проклял третью систему. Мне сейчас тоже плохо, хотя достал другой пистолет: не могу же я умирать с голоду, а явиться в милицию — боюсь. Но мне плохо. Мне очень плохо. Третью систему вычеркнул.

■

Судьбе было угодно, чтобы я разбил свое сердце... Заодно я разбил еще вазу. Итак, разбились ваза и сердце. Может, это смешно. Мне — нет. Это было в Таллине, куда меня привели кое-какие дела, ведь у бродяг всегда есть делишки. Справившись с ними, я слонялся по городу, что для бродяги, когда у него нет забот, когда его кошелек наполнен хрустящими бумажками и он уверен, что правосудие не ходит по его пятам, самое увлекательное занятие. Толкаясь среди людей, я размышлял о них, стараясь отгадать, кто из них что из себя представляет, что у кого в душе, что за душой, разглядывал красивые вещи на витринах, а на тротуарах красивых женщин, на которых бродяге смотреть никто запретить не может. Вещи, хоть и красивые, бродяге ни к чему, а женщины... О них бродяге все же лучше думать поменьше.

Я все рассматривал, на все глядел, но не углядел, как из одного магазина выпорхнула девушка со свертком в руках. И получилось, что я налетел на нее, а она на меня. При этом она уронила сверток, в котором была ваза, а ваза, как положено всякой стеклянной посуде, раскололась. Мы были смущены, и оба, попросив друг у друга прощения, стали поспешно собирать с тротуара цветные, искрящиеся на солнце осколки. При этом я заметил, что она красивая, а глаза у нее — большие, спокойные, очень доверчивые.

Собрав осколки, я аккуратно завернул их в бумагу, в которую была упакована ваза, и протянул ей.

— Хотя ваза и разбита, но... осколки приносят счастье, — сказал я. И посоветовал ей сохранить осколки. Затем попросил разрешения купить ей новую вазу. Она запротестовала, считая себя виновной тоже. Тогда мы решили купить вазу сообща — замечательная примета! Когда ваза была приобретена, она, смеясь, высыпала в нее осколки разбитой вазы, — нужно, мол, проверить, насколько верны народные пословицы и, подарив мне улыбку, удалилась.

Тут я понял, что я — осел, хоть и считаю себя в какой-то мере сообразительным. Разиня! Ведь надо было удержать ее, остановить, познакомиться. Возможно, это моя судьба... А она ушла. И не бежать же вслед... Или надо было бежать?

■

Когда слушаешь музыку, в жизни все прекрасно, когда слышишь хорошую песню — и сам запоешь. Музыка может заглушить любую боль, дать силу и энергию и, по-моему, человеку не прожить без музыки. Только я люблю музыку темпераментную, жизнерадостную и мечтательную, когда звуки радуют, ласкают, лечат, музыку, что вдохновляет. Музыка — это частица природы, ее вздохи, песни, плач и смех; в ней отражаются краски природы и настроения людей; музыка — это жизнь. И все же не всякую музыку я понимаю. Но и жизнь не вся мне ясна. Тем не менее жизнь — это жизнь. Значит, так и в музыке: хотя непонятно, но музыка — это музыка.

Я увидел ее на улице и шел за ней до ее дома. Очень хотелось подойти к девушке, но я не мог, не хватало решимости. Никогда ничего подобного не испытывал, а тут даже во рту стало сухо и сердце билось так, словно меня застукали на «мокром деле». Когда она вошла в подъезд, я подождал несколько секунд, чтобы дать ей подняться по лестнице, и тоже вошел. Она живет на третьем этаже. Квартирка у нее маленькая, из двух комнат. Живет она одна. Откуда я знаю? Очень просто: я выследил, когда она уходит и когда приходит, и, установив, что кроме нее никого в этой квартире нет, посетил ее. В комнатах чисто, пыли нет и много цветов — на столе, на серванте, на книжном шкафу, на подоконнике, на трюмо — всюду цветы, и в горшочках, и в вазах. Не жилье — оранжерея. Интересно, цветы ей приподносят или сама покупает... Видно, она и рукодельница: стоят корзины, в них разноцветные шарики шерстяных ниток и что-то начатое. А вот и ваза на книжном шкафчике. Та самая. Рядом — ее маленький портрет. Она смотрит на меня ласковыми, спокойными глазами. Они немного грустные, эти глаза. Почему? Кто она? Кого любит? А вот ее книги: Шекспир, Мериме, Куприн, Толстой, Горький — одни классики, сроду их не читал. Еще Малая Советская Энциклопедия от «а» до «я». И еще какая-то книга — «Кулинария». И книги по высшей математике.

Я представляю, как она приходит с работы, переодевается, идет на кухню, готовит себе ужин. А потом она, наверное, идет в город — на свидание. «Он» ее где-нибудь ждет, они идут в кино или так гуляют, а потом «он» ее проводит до дома. А может, «он» поднимается в ее квартиру, вместе с ней. Ну да. Ведь она такая красивая, и вообще... А я? Не имеешь права, брат, ты — вор. Ты все достаешь себе или по первой, второй, или третьей системе, ты все воруешь — хлеб, воду, одежду. Ну вот и укради себе любовь... Дурак. Разве можно украсть любовь? Разве можно украсть счастье? Все что угодно можно украсть, но вот живет в этой маленькой квартире женщина, способная осчастливить одним взглядом, но не тебя, а кого-то другого, у кого тоже есть квартира, кто тоже каждое утро спешит на работу, а вечером возвращается, переодевается и идет на свидание с ней. Она будет смотреть на него своими ласковыми глазами, и он окунется в эти глаза, будет пить их жадно, восторженно. Любовь — это не для меня. Но я буду приходить сюда все равно, на зло всему. Я хочу ее видеть, хоть изредка. Она — мечта, а мечтать-то я уж имею право.

Нос у него длинный, даже чересчур, глаза на самую малость плутоватые, лицо в веснушках, а прическа — чубчик. Сам щупленький, сморчок какой-то. Кличка его, между прочим, Проныра, а зовут Мишей. Он «краснушник» — в поездах промышляет. Это не значит, что он держится лишь за эту узкую специальность, но это его главная работенка. В основном он «вертит углы», в переводе на человеческий язык — ворует чемоданы, и, когда я с ним познакомился, он как раз возился с одним из них, забравшись в придорожные кусты, неподалеку от вокзала. Я набрел на него совершенно случайно, и этим его немного смутил, но не скажу, чтобы очень.

— Что уставился, видишь — одно женское барахло... Стоило ли стараться, — сказал он ворчливо.

— А ты, брат, не боишься, что я тебя в милицию отведу?

— Чудак, — сказал он, — я ж тебя знаю. Ты с Рашпилем ходишь. Рашпиль — это Рест.

— Что ж, верно, — согласился я и спросил: — Так чего же ты за этим ящиком гнался, раз он марьяне (женщине) принадлежит?

— А я знал?.. Его фраер нес, — ответил он и спросил: — Ты откуда приканал? (Пришел, стало быть).

Это знать ему было необязательно, сказал только, что в беге.

В чемодане действительно ничего стоящего не обнаружили, одни лифчики, трусики да прочая женская мелочь. Мы оставили этот бесполезный материал, пошли в буфет и тяпнули за знакомство.

— Ты знаешь, брат, нос твой немного не того... Длинноват. Опасно тебе с таким румпелем, приметно, — высказал я соображение.

— И то, — согласился Мишка, — понимаешь, за этот вот носик я както отсидел трое суток в карцере...

— Да ну... — не поверил я.

— Вот и «ну». Понимаешь, было это на проверке. Построили нас, ну и надзиратель один стал считать. Раз, два, три, дошел до меня, уставился на мой нос и говорит: «Ну и шнобель! Ай да шнобель...» Тут он сбился и пошел снова считать. Дошел до меня второй раз, и на тебе, опять сбился. Так три раза сбивался, затем велел мне повернуться к нему задом и пошел считать еще раз, и опять сбился. Тогда поддал мне ногой в зад и послал на «кичман». Вот какой миленький носик у меня, — закончил он, вздыхая.

— А мне, брат, уши мешают, — сказал я, — все равно что лопухи. А сколько горя они мне принесли: отец их тянул, мама тянула, учителя тянули, кому не лень — все тянули...

Проныра понимающе качал головой, и плутоватые его глаза выражали явное сочувствие. Потом, будто я его этим фактом кровно обидел, он спросил:

— А ты что же, и в школу ходил?

— Был грех, — сознался я, понимая, что приличному, уважающему себя уркачу такую оплошность допускать не следовало бы. — Что поделаешь, — пытался оправдываться, — не добровольно же ходил... Да и давно это было.

Тяпнули за мои уши. Он о чем-то задумался, затем спросил, знаю ли я Кольку Окуня. Я сказал, что не знаю.

— Тоже был в беге, но втюрился в одну марьяну. Она думала, что он женится, а как он мог, он же в беге. Она все ждала, что-то там гадала, потом вышла за другого, а Колька вены себе порезал, дурак, и подох... Ну, ты расскажи, как вообще...

Что же, я рассказал Проныре о жизни беглеца. О том, как по квартирам — «сонникам» хожу и о многом другом, только не рассказал, что на макушке у меня появились седые волосы, что по ночам дурные сны вижу, а уж о том, что тоже втюрился, разумеется, не рассказал. Тяпнули мы с Пронырой за пропавшую Колькину душу, за свои души и пропавшую жизнь тоже и разошлись, как в море корабли.

■

Есть ли плохие люди?

Есть.

А хорошие?

Есть.

А кого больше — хороших или плохих? Разумеется, никто точно этого сказать не может. Конечно, плохих людей много, но и хорошие все же есть. А кто я сам? Хороший я человек или плохой?

...Я думал почти час и ничего не придумал. Неужели я ничего за свою жизнь не сделал хорошего?

■

— Я ударил женщину, — заявил Рест.

Я не понял, во-первых, почему он мне об этом сказал, во-вторых, почему он это сделал, но вопросов задавать не стал. Сам расскажет.

— Помнишь вечер, когда ты висел под балконом? — спросил он.

Разумеется, я помнил. Тогда я посетил по «наколке» одну квартиру. По сведениям, в этой квартире в тот вечер никого не должно было быть. И когда я туда вошел — а вошел через дверь, — там действительно никого не было. Занялся осмотром. И тут пришли люди. Услышав голоса, я скрылся на балконе. Было темно, я надеялся спуститься по водосточной трубе, на худой конец подождать на балконе, пока в доме уснут.

На мое несчастье, водосточной трубы вблизи балкона не оказалось. Тут голоса приблизились к балкону, куда деваться?.. Я перелез через барьер балкона и, держась за железные прутья, повис под ним. Сверху слышались голоса — женский и мужской. Говорили о любви. Что могло быть хуже... Приготовился к длительному висению. Висеть было очень неудобно, но не мешать же людям!

Наверху стало тихо, но они не ушли. Я услышал вздох — долгий, глубокий. Такой бывает, кажется, после поцелуя. «Ну, уж если дошло до этого, — подумал я, — мне висеть да висеть». Но я ошибся — они ушли. С большим трудом залез обратно на балкон, руки совсем онемели. Уйти из этой квартиры удалось под утро — влюбленные засыпают не скоро.

На блатквартире Пузанова меня тогда ждал Рест. Он тоже где-то «поработал», и к тому же с большим успехом. Сидел в кресле, задрав ноги на стол, на лице идиотская ухмылочка. Я рассказал о моих злоключениях. Он, по-прежнему продолжая чему-то многозначительно ухмыляться, произнес торжествующе:

— Ты знаешь, я благородное дело состряпал. — От него разило водкой.

— И в честь этого напился? — спросил я.

— Нет, напился раньше, — ответил он.

— Значит, с пьяных глаз... Ну, это еще можно понять, — съехидничал я.

Рест шел после «работы» из кафе, был малость «под мухой». Идет по Кадриоргу, наслаждается чистым воздухом, настроение на «самом высоком уровне». Вдруг видит одиноко сидящую на скамье девушку. Свинство, когда красивая девушка скучает одна. Садится рядом. Но что это? Девушка плачет.

— Что с тобою, крошка? — говорит Рест и участливо гладит ее по голове.

Оказывается, она — студентка (на последнем курсе, медичка, между прочим), у нее похитили деньги — стипендии ее и ее подружек. У нее никого нет, кто бы мог ей помочь. И жить не на что. И тут Рест доказал, что существуют на свете истинные джентельмены.

— Вот тебе «кусок», киса, — говорит он ей и подает деньги. — Купи лотерейку, глядишь, повезет и сразу миллионершей станешь.

Он тут же встал и ушел, даже не познакомившись с этой красоткой. Правильно, какое же это было бы благородство, если потом знакомство и тому подобное.

— Ты бы видел ее глаза... — закончил он свой рассказ.

Деньги нам достаются нелегко, но все-таки Рест молодец.

После этого, через несколько дней он прибежал с такой же дурацкой ухмылочкой.

— Опять благородство какое-нибудь совершил? — поинтересовался я.

— Я ее видел. Понимаешь? Стоит автобус, и я стою на остановке. Вижу, какая-то красотка через окно меня рассматривает. Так и прилипла к стеклу. Я ее сразу узнал, и она меня тоже, выйти хотела, но автобус уехал.

Рассказывая это, Рест был похож на ненормального, видно, загорелся парень. Только сегодня его погасили. Случилось это на Пирита, где он отдыхал после трудов праведных, купался, загорал.

Слышит вдруг Рест — кто-то кричит. Видит — в воде барахтается мальчик. Миг — и он под водой. Рест ныряет, хватает его, вытаскивает. Мальчик — как тряпка. Рест перевернул его, надавил на живот, уложил на песок и давай делать искусственное дыхание, как полагается, по всем правилам. Собрались люди, пришла медсестра. Рест работает, воображает себя героем. Сестра подходит, щупает пульс, слушает сердце и говорит:

— Он мертв.

— Как? Не может быть! — кричит Рест и давай опять делать искусственное дыхание.

Никакого толку. А сестра кричит:

— Он мертв! Не старайтесь!

Рест наклонился к губам мальчика и дует, того и гляди лопнет сам. Никакого результата. И опять Рест работает, а сестра ему мешает: шипит, ругает.

— Несите теплую воду! — заревел тогда Рест.

Кто-то куда-то побежал, принесли ведро теплой воды. Рест вылил воду на утопленника и опять начал делать искусственное дыхание. Люди вокруг наблюдают, что-то подсказывают, сестра молчит. Мальчик открыл глаза.

— С чем тебя и поздравляю, — сказал Рест, поднялся, подошел к сестре и дал ей пощечину. — Дрянь!

— Вот видишь, я ей дал по морде, — Рест удрученно смотрел на меня.

Я ничего не сказал.

— А сестра была... она, — сказал Рест, опустив голову.

■

ТЕТРАДЬ ВОСЬМАЯ
ГОД 1954

Какое сегодня число? Думал, думал, и рука наконец вывела цифру «22». Только она это вывела, подошли два парня и уселись рядом. Они, оказывается, блатные — слышу жаргон. Везет мне на них, куда бы я ни шел, везде на них натыкаюсь. Я тоже заговорил на том же наречии. Парни — им было лет по тридцати пяти — с интересом и с некоторым подозрением посмотрели на меня, почему-то вдруг встали и быстро ушли. Я понял: они хоть на жаргоне, но говорили, кажется, о работе, о делах на производстве, а я с ними заговорил как вор, как бродяга. Я с ними заговорил как с блатными, а они-то уже, оказывается, «завязали», они уже люди, и, хотя говорят на жаргоне в силу привычки, меня, блатного, они знать не хотят. Что же, дело ваше...

А почему моя рука так непослушно вывела цифру 22? Ладно, кривить не стану: потому что я пьян в стельку. А почему я пьян? А потому что меня пробрал жесточайший понос, а с поносом шутки плохи, его сопровождают жуткие боли. Вертелся я, вертелся, мучился, потом купил пол-литра водки и залпом выпил. Боли сразу исчезли, относительно поноса еще не знаю. Только и зрение стало что-то плохое: писать могу, только если зажмурю один глаз, а обоими ничего не вижу — бумага расплывается на целый квадратный километр, буквы кажутся с четырехэтажный дом.

Сейчас, задрав нос к солнцу, я призадумался и тут же ощутил, что кто-то уселся рядом. Посмотрел, сидят какие-то двое, видимо научные сотрудники: они что-то говорят, кажется по-научному, слова непонятные. Завидно мне: живут люди, знают свое дело, свою науку, а я около них сижу, на них, зажмурив один глаз, смотрю, слушаю их жаргон и ничего не понимаю. Хотелось бы с ними поговорить, но вряд ли они меня будут слушать, такого пьяного, — не стоит. И все же спросил: какую науку они изучают? Они зашмыгали носами, видно запах водки учуяли, и, не ответив, спросили меня, кто я такой?

— Я простой бродяга, — сказал я, — и у меня понос.

Они ушли. Тут же присел человек в черном костюме, с черным галстуком, с черным беретом на голове, худой. Кто такой? Черт его знает. А по левой стороне, оказывается, сидела девушка, красавица, вот она встала и ушла. А я ее и не заметил, вот до чего залил глаза. Холодно стало, надо уйти. Но, ей-богу, не знаю, где я сейчас нахожусь...

■

Ведь бывает же такое... Ни о чем не подозревая, стоишь себе с приятелями, глубокомысленно созерцаешь янтарное пиво, убывающее в твоей кружке, улыбка на небритых физиономиях приятелей и собак, ведущих какие-то свои переговоры за пивным ларьком, который не переставая по очереди подпирают своими лапами (говорят, у собак это вошло в моду после того, как где-то на какую-то из них упал забор); твой приятель, с кем ты пять минут тому назад познакомился, заканчивает анекдот, и ты открываешь рот, чтобы как следует посмеяться, хотя анекдот и не понял, а вместо того закричишь от испуга и боли тоже, потому что тебя вдруг бабахнули чем-то по голове. Вот здорово!.. И бывает же такое...

Когда этот жест совершился — засмеялись приятели, потому что этим приятелишкам всегда смешно, когда кто-нибудь шлепнется в лужу или стукнется лбом об столб, или брюки порвет на себе нечаянно. «Только пошли мы, — смакуют они, — и он тут ка-ак стукнется...» Или: «Только мы это... э... пропустили, закусили и пошли... а он ка-ак шлепнется... Го-го-го, го-го-го...» Им всегда смешно. А тут целая сенсация. Стукнули по голове. Ого-го-го! Причем чем стукнули? Старым дырявым ведром. Им так весело, они так заразительно ржут, что вместо того, чтобы как следует дать по зубам тому, кто к тебе так неуважительно отнесся, тоже засмеешься и, словно это и в самом деле занятно, как будто между прочим, не переставая снисходительно смеяться, поинтересуешься, за что тебе такая милость. А вот теперь уже не до смеха.

Перед тобой стоит разъяренный дьявол в образе базарного дворника — здоровенный двухметровый верзила лет пятидесяти.

— Не-е... не-е знаешь! — ревет он изумительно нежным голосом, которому позавидовал бы северный медведь, и... бабах — ведро второй раз, еще с большего размаха, опускается на мою голову. Да, да — на мою! Это

именно меня на таллинском базаре стукнули по голове этим недостойным предметом. Пока я соображал, смеяться ли мне дальше или как, старик готовился третий раз проделать этот номер для потехи собравшихся зевак, и мне с трудом удалось укротить это свирепое явление в старом залатанном фартуке, отняв у него помятое о мою голову ведро.

— Где мое ведерко?! — проревел он.

Какое ведро? Что это он несет?

— Новое! — кричит он. — Куда ты, собачий сын, его девал?

Я уже не обращаю внимания на неуважительный тон и пропускаю мимо ушей оскорбление, изобразив одну из самых ласковых улыбок, молю его объяснить, в чем дело. Тут, наконец, и приятели, насмеявшись досыта, поспешили на помощь — старику подали кружку с пивом. Он смягчился и, прежде чем пригубить поднесение, произнес:

— Сказал мне тут один, что это ты ведро забрал, а я горяч малость... Но какая же стерва стащила ведро?!..

Кто ему сказал это?

Опустошив несколькими здоровенными глотками кружку, он, все еще подозрительно на меня глядя, сказал:

— Да вот был он тут, — старик обернулся, поискал кого-то взглядом в толпе, — такой маленький, пузатенький, с носом этаким... он изобразил рукой, какой нос у того. — Ведь вот стерва, дали мне утром совсем новое ведро, тут я его на минутку поставил, отвернулся, а потом гляжу — стоит это... — показал на старое. — И потом тот, с носом, подошел и на тебя показал. «Это, — говорит, — он стянул». А я ведь горяч... Но ты, если не брал, извини.

Это, конечно, Пронырa... Отомстил за вчерашнее.

Вчера вечером мы съездили с ним в деревню к одной нашей знакомой. По дороге не могли никак решить проблему треугольника: нас ведь двое, а знакомая — одна. Зато, не дойдя до дома знакомой, решили проблему «дерева и собаки».

Во дворе знакомой (живет она одна) обитает огромная свирепая дворняга, которую постоянно держат на цепи и которую Пронырa каждый раз не забывает пинать ногой, приговаривая: «У-у, злюка противная, р-р-р». За это бедная дворняжка так полюбила Мишкин нос, что и во сне видит, как бы оторвать его, и, когда ей удается сорваться с цепи, Проныре приходится сидеть на низком каштане, растущем тут же во дворе. Что касается моих с этой дворняжкой отношений, я ее всегда жалею и кормлю — хлебом, колбасой. И пользуюсь за это особым расположением.

Когда вошли во двор, я быстро подбежал к дворняге и, прежде чем Пронырa что-нибудь успел сообразить, спустил ее с цепи. Пронырa просидел на каштане до тех пор, пока я не ушел.

■

Ее зовут Сирье. Она каждое утро в половине восьмого выходит из квартиры, а возвращается поздно — в шесть-семь часов вечера. Рабочий день, что ли, у нее такой длинный — не знаю. Я прихожу в ее квартиру и наблюдаю, как она живет. Разные мелочи рассказывают о ее жизни. Во-первых, альбом. Вот она заснята с каким-то мужчиной, противный тип, лысый. Она и он встречаются на многих снимках, они сняты и вдвоем, и в компании. Не понимаю, как может такая красивая женщина якшаться с таким уродом. На некоторых снимках она изображена и с другими мужчинами. Особенно выделяется один из них, с красивым лицом, с маленькими

усиками. Не нравятся мне его глаза — наглые какие-то. А вот она заснята еще с кем-то, видно, военный, положительно симпатичная личность, и глаза тоже симпатичные.

Она вяжет какое-то платье. В прошлый раз, когда я был здесь, я не мог еще определить, что это она такое вяжет. Но теперь могу поклясться, что это или платье, или юбка. Гляжу на ее портрет и думаю, почему у нее такие грустные глаза, не родилась же она с такими. Может, ей в жизни не повезло? Мне все в ней нравится, одно плохо: курит. Всегда у нее в пепельнице окурки папирос с напомаженными кончиками.

Пытаюсь иногда представить себя рядом с ней — плохо получается. Мне кажется, что я смешон, неловок и уж, разумеется, некрасив, возможно, даже неприятен. И вообще, что я из себя представляю как мужчина? Раньше мне было все равно, каким я кажусь женщинам — умным, дураком, красивым, уродливым, — лишь бы они меня принимали. А вот теперь я даже не представляю, что с ней могу познакомиться, поговорить, сжать ее руку. Что это со мной такое происходит? Неужели это и есть любовь? Но ведь любовь — не для меня, разве это возможно? Ну, допустим, любить-то я право имею — товарища, собаку, удовольствия разные, жизнь вообще. А ее? Мой товарищ — такой же, как я, вор. Я имею право любить своего товарища, потому что он такой же, как я, и разделяет мою участь; а ее, эту женщину, я любить не должен, потому что она не сможет разделить мою жизнь. Об этом даже думать нельзя. Если бы она была воровкой — имел бы я право любить ее тогда? Наверное — да. Но хотел бы я любить такую женщину? Наверное, если уж она мне нравится, я любил бы ее все равно. Кто его знает, почему... Не знаю. Неведома мне эта сила. Но сила эта есть, и никто не может устоять перед ней. Стало быть, тогда и я ее могу любить... Да, я имею право, это мое личное дело, но заставить ее разделить мою проклятую жизнь — этого делать нельзя. Люби себе на здоровье, сколько хочешь, и пусть об этом, кроме тебя, никто не знает. Но я не хочу так, я хочу быть с ней. Что делать? Открыться ей и сказать все прямо: мол, так и так — сволочь я и все такое. Тогда я ее больше не увижу. Нет, я не скажу ей ничего, она ничего не узнает, она единственное, что у меня есть, я не хочу ее терять. Как бы мне хотелось быть обаятельным, сильным, чтобы покорить ее. Да, сильным. Женщины, кажется, ценят в мужчинах это качество. А я разве сильный? Я, конечно, могу блеснуть ловкостью, напасть на кого-нибудь, применить один-два из многочисленных подлых приемов. Но разве этим покоришь такую женщину? Нет, этим восхищаются девицы из «малины», но не она.

Да, счастье не украдешь. До сих пор я все мог забрать и унести из тех квартир, где побывал, а вот здесь есть нечто, чего не унесешь. И это мутит мне душу. Наверное, у каждого человека есть что-то для него недосягаемое, ему неподвластное, что он не может удержать, чем никогда не овладеет. А все-таки мне здесь так хорошо, и пускай она меня никогда не узнает, пусть она улыбается другим. Я довольствуюсь своей долей. Хотелось бы принести ей цветы...

■

Чудовище — громадная уродливая собака и похожий на черепаху зверь с красными лапами и пастью, как у крокодила, напали друг на друга и, страшно рыча, грызутся. Откуда-то появилась громадная кошка, намного больше тигра, ее зеленые глаза горят, как фонари, она стоит поодаль и, помахивая самым кончиком длинного хвоста, наблюдает, как чу-

довища рвут друг друга. Собака-чудовище придавила черепаху передними, толстыми, как у слона, лапами к земле и страшными клыками старается сорвать ее панцирь. Черепаха крутится на месте, словно гигантская чаша, поднимая облако пыли. Она шипит, шипит, а кошка все стоит, и ее зеленые глаза делаются то желтыми, то красными, хвост шевелится...

Я не могу понять, где я нахожусь. Вроде происходит прямо рядом, но я не вижу самого себя, а их вот вижу. Над ними черное небо, на котором нет ни облачка, ни звезд. Небо будто бы освещено откуда-то снизу, и кажется, что натянуто над землей огромное черное полотно. Вокруг ярко-желтый песок, деревья с красными стволами и невысокий кустарник с большими белыми цветами.

— Вы что здесь делаете? — это спрашивает откуда-то появившийся гигантских размеров жук. Он стоит, таращит черные, блестящие, словно стеклянные, глаза и шевелит длинными, как кнуты, усами. У него три пары ног, они синие. Собака-чудовище отошла от черепахи, улеглась в песок неподалеку и выжидающе глядит на жука.

— Что вы здесь делаете? Как вы здесь очутились? Кто вы такой?

Чудовище исчезает, я чувствую, кто-то трясет меня за плечо. Открываю глаза и, словно в тумане, вижу женщину. Она опять что-то спрашивает, но я не могу ответить, я смертельно устал. Хочу спать. Спать! Спать! Пусть весь мир провалится в тартарары, пусть сгорит дом, пусть будет потоп, но пусть меня оставят в покое — я хочу спать. А она опять меня трясет, еще и еще раз. Откуда-то появляются муравьи, черные, с большими блестящими брюшками, они идут колоннами, построившись стройными рядами; их много, бесконечно много, все идут, идут, идут...

Проснулся от мучительной боли в темени и не сразу понял, где нахожусь. Я лежал на диване в маленькой комнатке с голубыми обоями на стенах, с белоснежными занавесками на окне. Был день, светло, откуда-то в комнату проник запах кофе. Очень хотелось есть. Лежал одетый, укрытый одеялом, и под головой у меня оказалась подушка. Но помню, когда я садился на этот диван, ничего не было. Мой взгляд остановился на портрете, с которого на меня смотрела светловолосая женщина, и сразу все стало ясно: это ведь квартира Сирье.

Это было уже утром, когда я, усталый, зашел к Сирье. Предварительно позвонив, я убедился, что ее, как всегда в это время, нет дома. Затем открыл дверь и вошел. Я присел на диван, задрал на спинку стула ноги и стал смотреть на портрет Сирье. Я не спал очень долго и очень устал, но это было еще ничего, если бы не сходка... Меня повел туда Рест, он ведь вор «в авторитете». Сходка собралась в Копли, где есть что-то наподобие «малины». Собрались из-за Рябого. Рябой был где-то на деле, а когда их всех сцапали, его почему-то отпустили. Потом стало известно, что он «сука» и дело уже заранее «заложил».

Рест меня представил как вора. Всего собралось девять морд. Сперва базарили так, кто про что умел, говорили о бабах, потом, как бы между прочим, перешли к главному вопросу. Всю ночь выступали воры, попались, как на зло, все языкастые и грамотные. Да и Рябой тоже чуть ли не дипломат. К тому же он имел право защищаться и пытался доказать всеми возможными правдами и неправдами свою невиновность. Только дело было ясное. Все выступающие заканчивали одним и тем же: на ножи. Уже перед рассветом решили единодушно: зарезать. Осталось выяснить, кому предстоит исполнить приговор, но исполнять никому не пришлось: Рябой зарезался сам. Он поставил пику острием на сердце и стукнул по рукоятке ку-

лаком. Удар был сильный, он упал и тут же умер. Его завернули в какую-то рогожу и куда-то убрали.

Только уволокли Рябого, как в окно ударили камнем, со звоном разбилось стекло. Через маленький люк в коридоре все вмиг взобрались на чердак, а оттуда — на крышу, перейдя которую мы очутились в соседнем дворе, откуда по одному вышли на другую улицу.

В «хату» ворвалась милиция, но уже было пусто. Однако еще бы чуть-чуть — и хана всем. Но как это им удалось вынюхать сходку?..

Уже рассвело. Я бесцельно бродил по городу, о чем-то думал: о беспощадной жизни, о смерти, о Рябом. Перед глазами все еще стояло побледневшее лицо Рябого, его последние судороги. Жуткая смерть, жуткая.

Шагая по Нарве-Мантее, я получил толчок в спину и полетел навстречу мчавшемуся на меня грузовику. Водитель не успел затормозить, так это быстро произошло. Я машинально подпрыгнул, чтобы уцепиться за радиатор, и это меня спасло. Получив удар, отлетел в сторону и отделался лишь синяками и ссадинами. Подозреваю, что это не последний «несчастный» случай, который со мной может приключиться. Потом я очутился на знакомой улице, в доме Сирье.

— С добрым утром! Как поспали?

Передо мной стояла она, закутанная в халат, в мягких комнатных туфлях на босу ногу.

— Здравствуйте, — сказал я, — извините меня... Вы меня, конечно, не знаете...

Она отодвинула стул от стоящего посредине комнаты стола и, скрестив ноги, села. Так всегда сидела моя мама, когда вязала или шила.

— Нет, почему же, я вас знаю, — сказала она, — мы ведь с вами, кажется, вазу вместе разбили. У меня даже осколки от нее сохранились. Они будто бы приносят счастье? — в ее голосе послышалась ирония, но продолжала она без всякой иронии, и в ее голосе почудились теперь уже нотки страха. — Только как вы ко мне попали — я действительно не понимаю... Но вы, между прочим, проспали у меня ночь, ведь уже утро.

■

«Значит, я проспал целые сутки», — подумал я и молчал. И она молчала. Я не знал, как быть. Сказать разве, что я в этой квартире не в первый раз? У нее очень хорошие глаза, ласковые, человечные. Мне так хотелось, чтобы вот такая женщина была моим другом.

— Хотите я вам расскажу всю правду? — спросил я наконец, не сознавая еще сам, что именно расскажу.

— Хочу, — сказала она коротко.

Я рассказал ей все. Я спешил, торопился, боясь, что она мне помешает, но она слушала очень внимательно. Меня прорвало, я вывернул перед нею всю душу и говорил, говорил. Никогда, никому я еще не говорил столько правды. Страшной правды... А то, что она действительно страшная, я понял отчетливо лишь теперь, рассказывая ей. Мне хотелось очиститься, как на исповеди. Когда я, наконец, замолчал, она спросила, как меня зовут.

— Меня зовут... — чуть не назвал кличку. — Ахто, — ответил я, и это звучало как-то странно, так давно меня не называли по имени.

— И у вас никого нет? — спросила она тихим голосом, — ни родственников, ни... — она не закончила вопроса, лишь вопросительно смотрела на меня.

— Нет, никого нет, — ответил я Сирье, как и она, тихо.

— Хотите есть? — спросила Сирье, — пойдем, будем пить кофе.

Мы пошли в маленькую кухню. Сирье разлила кофе, и мы молча принялись за еду. Было очень уютно. Так хорошо мне уже давно, давно не было. На короткое время я забыл и сходку, и Рябого, и всю свою собачью жизнь. Когда я собрался уходить, она сказала:

— Если вам негде будет спать — приходите. Я ничем больше не могу вам помочь.

Глаза у нее были опять грустные.

Явился я к Сирье пьяный. И она меня не выгнала. Ей-богу, не понимаю... Она не выгнала меня, а уложила спать на тот же, знакомый мне диван. Даже помогла раздеться. Из нее бы получилась идеальная жена. Ночью я проснулся, и жизнь представилась мне настолько в розовом свете, что я выбрался из своей постели и хотел пойти в комнату, где спит Сирье. Но истинное положение вещей мне разъяснила дверь — она была заперта. Утром Сирье мне ничего не сказала, но в ее глазах я прочитал что-то наподобие снисходительного сочувствия. Я чувствовал себя виноватым перед ней, обещал в таком виде больше не являться. Она сказала лишь коротко:

— Хорошо.

И больше об этом речи не было. Позавтракав, мы разошлись, она ушла на работу (Сирье работает в каком-то институте), а я... тоже ушел «на работу». Когда вышли на улицу, она спросила, чем я открываю ее квартиру. Я замялся. Тогда она подала мне ключ и сказала, впервые обращаясь на ты:

— Бери, пусть он будет у тебя, у меня есть другой.

Я запомнил эти слова на всю жизнь.

■

Сегодня утром пораньше попутал меня бес. Он путал меня, как раз, когда я проходил по улице Сальме, что идет вдоль парка, где в это время дня было совершенно пустынно. В одном доме на втором этаже я заметил открытую балконную дверь. Соблазнительно близко от балкона была водосточная труба, по которой я карабкаюсь так же ловко, как другие ходят по лестницам. Я снял плащ, шляпу, прибавил к ним портфель с моим арсеналом и, убедившись, что никого поблизости нет, запрятал все в кусты. Затем поднялся на балкон и заглянул в квартиру, где нашел одно почтенное семейство, с аппетитом уплетающее блины и кофе. Понаблюдав его немного и вспомнив, что и мне пора завтракать, ушел оттуда. Только своего имущества в кустах не обнаружил...

Итак, пока я из чисто спортивных побуждений посетил это семейство, какая-то подлая личность меня обворовала. Поздравляю! Этот негодяй приобрел бельгийский пистолет марки «Денозе», чудесную коллекцию отмычек, тонких перчаток и превосходные гримы, да еще кое-какую полезную литературу, — всем этим мне теперь придется обзаводиться снова. И что за отвратительное явление — воровство!

■

— Преступление еще нигде, никому и никогда не приносило счастья, только опустошало душу, ломало жизнь и губило будущее, — это говорит мне Сирье.

Она приютила меня в своей квартире и сказала, что хочет сделать из меня человека. Смешная. Разве я не человек? Она ведет со мной борьбу, доказывая, что я живу неправильно. А когда я ее спрашиваю, что мне конкретно делать, чтобы получилось правильно, — молчит. А что же мне действительно делать? Вернуться в лагерь? Ведь я как-никак поработал немало и по первой, и по второй, и по третьей системе. Дадут наверняка полную катушку — десятку.

Сирье спит. Пришла из института, посидела на диване, поболтали, затем она сняла туфли и легла.

Я укрыл ее пиджаком. Скоро она заснула. Перед ее приходом я прибрал квартиру, помыл посуду и постирал полотенца. Осталось приготовить ужин, но я не умею. Она поспит немного, а проснется — сама что-нибудь сделает.

Все-таки смешная она. Я выразил возмущение по поводу чего-то, прочитанного в газете, это ее чрезвычайно обрадовало:

— Так ты, стало быть, начал читать газеты...

Вокруг много людей — хороших и плохих, кое-кто из них иногда относится ко мне хорошо, но они не ко мне относятся хорошо, а к тому человеку, за кого я себя выдаю, меня же они не знают. Сирье знает меня.

Росла без родителей, отца не помнит, а мать умерла, когда она была еще маленькой. Вырастили ее тетушка и дядя, они живут где-то в деревне. У Сирье есть муж. Нет, не тот лысый, с которым она сфотографирована, — это, оказывается, и есть ее дядя (в общем-то симпатичный) — и не красавец с наглющими глазами, хотя он, к сожалению, не дядя... Ее муж тот положительный военный с симпатичным лицом.

Десять лет назад она вышла замуж... за красавца с наглющими глазами. Он пьянствовал, мучил ее, изменял... Она прожила с ним три года и развелась. Через год после этого она вышла замуж за военного и прожила с ним четыре года. Это очень хороший человек, любит ее, у них родилась дочь. На этот раз изменила она. Почему так получилось — она не знает, так получилось. Человек, с которым она изменила, прошел мимолетной тенью в их жизни, она его даже не вспоминает. Муж простил ее и хотел, чтобы она вернулась. А она не вернется.

— Ему даже легче, — говорит она, — он не один, у него наша дочка...

Она тоскует по девочке, но к нему не вернется. Почему? Кто может это объяснить? Разве сама Сирье...

И как это получается? Почему любовь непостоянна? Есть пары, которые, прожив в согласии многие годы, расходятся. Возможно, за долгие годы они надоели друг другу? Есть же пары, которые, прожив лишь несколько месяцев, расходятся. Возможно, они недостаточно любили? Возможно многое. Можно даже полюбить бродягу, с которым в один несчастный день расправится правосудие...

Сирье бросила курить, она сказала:

— Даю слово!

Я знаю, она не бросает слов на ветер. Она просила меня дать слово, что я больше никогда не буду пить — «ни капельки», и я тоже не бросаю слов на ветер. Потому и не мог дать ей этого слова.

Нет, не годится приличному волку подходить к людям слишком близко: если не убьют, — приручат, заставят ходить на задних лапках, и станешь какой-то помесью дворняжки с кошкой: хвостиком ложись сюда, морду поверни туда, лапки держи не так, а на овечек уж и не поглядывай... Нет, мы не поссорились. Но нет мне от нее покоя. Все учит, наставляет, а чуть что не так — в слезы. Беда с ней. С одной стороны, пони-

маю — любит она меня и хочет, чтобы я был таким, как все, или таким каким она меня хочет видеть. С другой стороны — никто еще мною не командовал, непривычно мне это. О каждом шаге нужно перед ней отчитываться, и непременно, чтобы правду говорил. Только не могу же я ей все говорить... Что же тогда получится: скажу ей, так и так, ограбил такого-то, там-то и в такое-то время... Ерунда получается! Значит, надо лгать. Но ведь я ее люблю, и мне совсем не хочется говорить ей неправду.

Странно все. Как-то невероятно даже, что я люблю женщину, которая принадлежит только мне и поэтому имеет право потребовать от меня повиновения. А разве это так просто? Казалось, всегда видеть ее, быть с ней и днем и ночью — мечта. Но мечта сбылась, и откуда-то появились тысячи мелочей, к которым ты не привык, они тяготят. Она каждый день со мной советуется, что готовить на обед, на ужин. «Что ты будешь кушать?» — спрашивает. А мне-то все равно. Я ведь ем все подряд, подавай хоть гвозди. Да и неудобно: денег от меня, по известным причинам, она не берет, и, следовательно, когда я с ней, она меня кормит. А она не понимает, что мне неудобно, обижается. Ко всему прочему она очень образованная, много знает, и мне иногда трудно с ней разговаривать. Она говорит о своей работе, но я в этом ничего не смыслю, разные непонятные слова о непонятных ученых делах, о незнакомых людях. Мне нечем с ней поделиться, кроме общих впечатлений о повседневных событиях. И получается, что у нас вроде разные интересы.

Брак по-эстонски звучит так: абиэлу. Это слово состоит из двух слов: аби — помощь и элу — жизнь, в сочетании — жизнь во взаимопомощи. Это прекрасно, это, по-моему, самое точное определение супружеской жизни. Любовь соединяет людей для того, чтобы они жили и помогали друг другу во всем: физически, морально, материально. Находясь рядом с любимым человеком, ты должен следить, чтобы не обременять его своим существованием. Когда же один становится в тягость другому, значит, он в чем-то другому не помогает, и если он этого не поймет, неминуемо следует разрыв или же люди существуют нудно и надрывно. И все-таки нелегко приличному волку цивилизоваться, надо вертеться — сюда, туда, и соображать, много соображать, чтобы знать, куда и как повернуться хвостиком, как держать лапки.

■

Хотел принести ей цветов и полез в какой-то сад, где увидел изумительные ярко-красные розы. Попался садовнику или хозяину. Оказался здоровенный верзила, дал мне по морде. Я стерпел, чтобы не поднимать шума, даже извинился, но он не извинил, наоборот, еще дал по морде и розы отнял.

■

Есть у Сирье подружка, ее зовут Астрид, а фамилия ее Сипельгас («сипельгас» по-эстонски муравей). Астрид замужем, муж ее агроном. Живут супруги Сипельгас в деревне, недалеко от Таллина, близко к морю. Вот сюда мы с Сирье и приехали, чтобы, так сказать, культурно отдохнуть. В нашем распоряжении три недели — отпуск Сирье. Живем на хуторе, пьем молоко, загораем, бегаем, плаваем. Вернее, плаваю я один, потому что Сирье умеет плавать только по-собачьи и то больше пяти метров на воде не продержится. Она ужасно боится утонуть. Как-то я ее взял и понес на глубину. Она страшно закричала, а когда я ее вынес обратно на берег — жалобно заплакала.

Еще она боится коров... Вчера я целый день бродил по лесу, а вечером, когда вернулся домой, увидел: Сирье бегает по двору, а за ней гоняется хозяйская корова. Вообще-то корова явно полагала, что не она гонится за Сирье, а эта со стеклянными глазами женщина (Сирье была в очках) гонится за ней, искала места, куда бы скрыться. Сирье же не сомневалась, что корова гонится за нею, и так они метались по двору из угла в угол.

— Ну, чего стоишь! Помоги же мне загнать эту скотину! — закричала Сирье, увидев меня, совершая при этом отчаянный прыжок от коровьего хвоста.

Из них обеих Сирье приходилось хуже, потому что она боялась коровы и спереди и сзади: впереди у коровы рога, а задними ногами она лягается.

Корова между тем открыла рогами калитку и пустилась, задрав хвост, по грядкам всякой культурной растительности, за нею я и Сирье. Наконец нашими усилиями бедное благородное животное было водворено в сарай, откуда я, привязав корову, вышел гордым шагом победившего тореадора... Запыхавшаяся Сирье рассказала мне, что наша хозяйка ушла к своим родственникам и попросила ее загнать корову. Ну вот, а получилось-то что?!

Мы с Сирье шли мимо прославленного собора и увидели толпу, которая, толкаясь, впихивалась внутрь. Решили зайти в храм божий. Взявшись за руки, изображая на лице смирение, влезли в гущу бородатых стариков и морщинистых, повязанных платками старух. Еле протолкались. Неподалеку шла какая-то дискуссия на неизвестную мне религиозную тему. Лысый старик с хищным носом что-то толковал о происхождении сатаны и его взаимоотношениях с господом богом. Одна старушенция и другой старик возражали ему. Спор был горячий, в ход пускались весьма мирскис термины.

Должен сказать, люблю изредка в ночное время заглядывать к представителям господа. Народ они не бедный и хлеб насущный зарабатывают не очень уж в поте лица. Я бы сказал: живут хорошо на этом свете, а на том... они-то уж попадут прямо в рай... Мне же, грешному рабу желудка моего, презренному члену братства нарушителей всех видов порядка, мне на том свете гореть в огне адском, поэтому пользуюсь на этом, чем могу. Все равно нехорошо.

Случайно обернувшись, я увидел, что Сирье быстро-быстро крестится. Она искоса взглянула на меня, но я сделал вид, что ничего не заметил. Бедненькая... И черного кота боится, и пустых ведер, и если я ненароком ключи от квартиры брошу на стол—будет мне за это: она убеждена, что это плохой признак, предвещающий ссору, и чуть не плачет. И осколки от той самой вазы, с которой началось наше знакомство, она бережно хранит в большой хрустальной чаше. Она верит, что они принесут ей счастье. Дай-то бог, чтобы это было так!

Насытившись святой атмосферой собора, мы выбрались вон.

■

Чрезвычайное сообщение: в деревне, километрах в пятидесяти от Таллина, живет молдаванин — как это он здесь очутился, никому не известно, — у этого молдаванина имеется дом, и в одной из комнат этого дома, в подоконнике, запрятано три килограмма анаши. Интересное сообщение! Анаша — это такая гадость, которую курят. Она, как морфий и кокаин, имеет поклонников и ценится дорого. Спрятал там эту анашу человек, когда-то снимавший у молдаванина комнату. Этот человек угодил за что-то в

тюрьму. В тюрьме он рассказал об этом парню, который в свою очередь рассказал Проныре. Вопрос теперь заключался в том, как эту анашу оттуда достать. А достать надо было непременно — это же бешеные деньги.

Я вспомнил, что у меня есть старая малинового цвета обложка от футбольного абонемента. Билет этот без фотографии, но зато обложка замечательная. А фотографию можно вставить. Я сказал Проныре, что возьму это дело на себя, и, условившись о времени встречи, мы разошлись.

В тот же день я сделал все необходимые приготовления и поехал в село. Быстро нашел улицу и дом. Его хозяином оказался черномазый детина, ростом в два метра, с внушительными кулачищами. Показав на миг удостоверение «с красными обложками», я отрекомендовался сотрудником милиции и с ходу приступил к делу.

— Были ли у вас квартиранты в течение последних трех лет? — задал я вопрос № 1.

— Были, — сказал детина.

— Кто именно? — вопрос № 2.

— Да всякие были, — он стал перечислять, кто и когда именно был. Но меня интересовало совсем другое.

— В каких комнатах вы держите квартирантов? — вопрос № 3.

— Да мы всегда большую отдаем, желаете посмотреть? Что-нибудь случилось, или так интересуетесь?..

Я не ответил. Он повел меня в большую, светлую, с тремя окнами комнату.

— Значит, в других комнатах квартирантов у вас не было? — переспросил я на всякий случай. Оказывается, не было.

— В таком случае, — сказал я, — должен вам сообщить, что в одном из подоконников этой комнаты запрятана взрывчатка, она имеет ту особенность, что, пролежав в закупоренном виде более двух лет, автоматически взрывается. Итак, скоро ваш дом, если мы не найдем взрывчатку, полетит к чертям собачьим.

Детину не пришлось долго уговаривать. Он вышел и тут же вернулся с топором. Раз-два — и подоконника как не бывало. Но, увы, «взрывчатки» тут не оказалось.

— Значит, в другом, — сказал я.

Детина сорвал и другой подоконник, пыль столбом, штукатурка валится, но... взрывчатки нет. Детина направился к третьему окну, а я — потихоньку к двери. Раз-два — подоконника нет, и взрывчатки тоже...

Детина выразительно посмотрел на меня и сказал:

— Ну?

— Извините... — начал я.

— Какого черта! Чего вы меня дурачите?! — Покраснев от натуги и набрав воздуха, детина проревел: — Какого черта я свой дом ломаю?!!

— Неправильно, значит, информировали, — пролепетал я и поспешил вон. Я был счастлив унести ноги.

В назначенное время встретился с Пронырой, сказал, что кое-какие неотложные дела помешали мне заняться анашей, передал ему малиновые обложки и проинструктировал, как оперировать ими. Условившись о времени встречи, мы разошлись.

При встрече я с интересом разглядывал ослепительный фонарь у него под левым глазом.

— В расчете... За ведро, — сказал я.

■

Драгоценности, деньги люди хранят — одни в банках, другие в сберкассах, третьи в сейфах, различных тайниках. Сирье хранит свои ценности в зеленой пластмассовой коробочке, и стоит эта коробочка на гардеробе... В коробочке все ее деньги от зарплаты до зарплаты, квитанции всякие, диплом и почетные грамоты и еще — надежда. Оказывается, она не прочь выиграть немного денег или хотя бы мотоцикл. Денег ведь никогда не хватает, а ей многое бы хотелось. Она часто стоит у витрин магазинов и любуется красивыми материалами, платьями. А ей не везет, она еще никогда не выигрывала. И все равно она покупает лотерейные билеты, и всегда с наивно-блаженной надеждой, что на этот раз ей улыбнется счастье. Она покупает их не по многу — один-два билета — и бережно кладет к другим своим ценностям, в зеленую коробочку, а любимую коробочку ставит на гардероб.

Сирье и в голову не приходит, что у нее могут похитить эту коробочку — ее сейф. Да, ей не приходит это в голову, несмотря на знакомство со мной. А мне вот пришло. Может же кто-то войти, так же как я вхожу в другие квартиры, и забрать эту коробочку...

Мы с Сирье гуляли по городу и встретили франтоватого человека, он, галантно поклонившись Сирье, быстро прошел. Был он, что называется, красавец: черноволосый, белозубый, синеглазый.

— Ты его знаешь? — спросила Сирье.

— Нет, но зато ты его, кажется, знаешь, — сказал я.

Сирье рассказала, что на вечере, который недавно состоялся по поводу какого-то юбилея в ее институте, этот тип танцевал с нею и вообще всячески ухаживал, причем пытался наговорить ей про меня всяких чудес. Она собиралась рассказать про него раньше, но меня не было в Таллине, а потом она забыла. Его зовут Виктор, а фамилия его якобы Каллис. Каллис означает милый. Я уверил Сирье, что не знаю этого типа, и спросил, работает ли он в институте. Сирье ответила, что никогда его там не видела, правда, она не всех сотрудников института знает. Я посоветовал ей ни в коем случае не иметь с ним никаких дел и вообще быть осторожней. А вечером, на сей раз при исключительных обстоятельствах, я снова встретился с ним.

Я шел из бани, предаваясь мечтам, которые должны были воплотиться, потому что не выходили за пределы реальности. Вдруг чутье подсказало мне опасность. Осторожно озираясь, я увидел Лонга (одного из подручных Ораса) и двух других, безусловно из той же банды, но один из них был в форме милиции, а в другом я узнал этого типа. Мне стало ясно, что предстоит очередное приключение, притом неприятное.

Мы шли по многолюдной улице, но вот впереди показалась стоянка такси. С безразличным видом я перешел улицу и живо нырнул в такси. Дав шоферу «бумажку», попросил «жать», будто его черти гонят. Шофер оказался понятливым, и мы помчались, нарушая все правила уличного движения. За нами, как я и предвидел, мчалась вторая такая же сумасшедшая машина. Тут мне пришла счастливая мысль: я попросил подъехать к управлению милиции. Когда остановились у здания управления, такси, гнавшееся за нами, промчалось мимо и скрылось за углом. Вечером мои мечты все же сбылись, однако Орас здорово действует на нервы. Как только они умудрились меня обнаружить?

Уезжаю на время из Таллина. Вчера приходили к Сирье домой какие-то люди, спросили меня. Представились моими друзьями. Но из моих друзей никто не знает о существовании Сирье и моих с ней отношениях. Это, очевидно, опять Орас. Еду в Тарту.

ТЕТРАДЬ ДЕВЯТАЯ
ГОД 1954

Чуть не поймала меня милиция. Я спокойно гулял, вдруг глядь — за моей спиной гуляют они. Не люблю, когда они за моей спиной. Ушел. Они за мной. Я прибавил шагу, они тоже. Я побежал — они тоже. А потом я очутился на улице, которая не вела никуда. Тупик. И оказался в ловушке. Мне некуда было деваться. Что делать? Преследователи уже близко, того и гляди поймают. Тут я увидел баню. Вошел, быстро взял билет и бегом в раздевалку. Через миг я был голый и, сдав шкаф, пошел мыться. Попробуй найти меня среди голых, всех нас одинаковыми родили. Намылился, сидел, ждал, гадал, как из бани смыться. Но увы, в окно голый не полезешь, а выход один. Вышел в раздевалку и через дверь осторожно посмотрел в вестибюль, среди прочих увидел их — сидят, ждут. Они знали, что из бани мне деваться некуда. Вернулся в моечную и продолжаю мыться. Мылся час, два часа, совсем чистый стал. Но сколько можно мыться?

— Товарищ, тазик не занят? — около меня стоит голый человек.

— Нет, не занят, — отвечаю.

Товарищ взял тазик и стал мыться. Когда товарищ намылился, я подменил жетончик и вышел в раздевалку. Подошел к его шкафчику, мне открыли, и я оделся в форму железнодорожника, оказавшуюся в шкафчике. Проходя через вестибюль усердно вытирал платком лицо. Разумеется, меня никто не остановил.

■

В Тырва, в маленьком, сереньком, ничем не примечательном городишке, я с моей столичной внешностью и музыкальными ушами резко отличался от всего местного, благодаря чему на меня обратила внимания милиция. Она изъявила желание познакомиться. Я не был расположен к излишним знакомствам, пришлось покинуть это симпатичное местечко. Тут я обнаружил, что милиция пустилась за мной в погоню. Я петлял по селам, по колхозам и остановился, наконец, у одной колхозницы — решил отсидеться у нее до благоприятных времен. Я был уверен, что мои преследователи сбились со следа. Ан нет...

На четвертый день моего пребывания в сельском хозяйстве, когда я занимался во дворе полезным делом, то есть поил домашнюю скотину — кошку, во двор зашли несколько человек в синих фуражках. Они меня сразу не заметили и спросили Роози, которая вышла им навстречу, не у нее ли находится молодой человек «с большими ушами...» Смываться было поздно, и я выставил мои музыкальные уши на обозрение.

Затем меня поселили в Тырваском отделении милиции в маленькой каморке. Заботливая Роози снабдила меня продуктами, но все равно было тошно. На третий день моего пребывания в милиции со мной беседовал представитель госбезопасности из Таллина. Выяснилось, что милицию здорово интересует некий Сула и ей известно, что я с Сула знаком.

Это действительно так. Я эту личность как-то мимоходом узнал, но мне она показалась противной: начав с бегов от алиментов, Сула со временем совершил другие преступления: избил и изнасиловал какую-то женщину, украл свинью и наделал еще много всяких гадостей; теперь он скрывается — уже третий год. Человек этот по натуре грязный, трусливый, и где он или что с ним — я совершенно не знаю. Знал же я его вообще четыре

дня, но, по-видимому, о них-то и было известно милиции. В милиции откуда-то имелись сведения, по которым Сула выглядел крупным преступником, организатором с большим влиянием в уголовном мире, этакой акулой... На самом деле он своей тени боится, а уж влиянием не пользуется даже у сельских собак. Но я об этом (предвидя продолжение) промолчал. И не ошибся — оно последовало.

Имею задание: найти Сула. Через три недели должен буду находиться в Вильянди на условленном месте — для отчета о своих действиях.

Буду ли я искать Сула? Не собираюсь. Но от милиции я и на этот раз ушел.

ГОД 1955

Был на родине и разыскал Арно. Я не видел его с того памятного дня, когда пять лет назад оставил у него свою записную книжку. Он женат на хорошенькой (по моему разумению) женщине, имеет потомков — двух сопливых мальчишек. Но жить ему скучно... Никакого, мол, удовольствия от жизни: целый день работает, а придет домой, усталый, измученный, а тут визг, шум, заботы одна за другой; не жизнь — каторга.

Мне, конечно, трудно судить, в чем там дело, но, наверное, он поспешил жениться. Ну что мог он знать в восемнадцать лет?! Забрал я свою книжку и уехал.

Новый, 1955 год встретил истинно по-волчьи. Попался в Выруском районе истребителям и еле унес ноги. Они гнались за мной на лошадях, а я, упав, вывихнул ногу. Но все-таки ушел в лес и здесь провалился в старый песчаный карьер. К счастью, в лес меня искать не пошли, и ночью я из этого карьера вылез. Но вылез уже в 1955 году. Остаток ночи провел в коридоре одного человеческого жилья, среди юрких и любознательных мышей. Сегодня поеду в Кохтла.

■

Совершая ночной обход в одной из гостиниц Кохтла, я наткнулся на личность, которая очень нуждалась в деньгах, потому что кто-то из моих коллег опередил меня. Когда я зашел в его спальню, мне показалось, что он, как все нормальные люди в это время (было два часа ночи), спит, но не успел я осмотреться, как он заговорил. Он, конечно, безошибочно угадал, зачем я его в такой час навестил и что я за птица, и сообщил мне следующее: в Кохтла он впервые, деньги потерял или украли (разумеется, украли. Кошельки в Кохтла не теряются, их крадут. Это понятно всякому, кто знает, сколько в Кохтла золотых карманщиков), и он теперь не знает, как ему ехать домой (в Таллин), а также как им с беременной женой дожить до следующей зарплаты. Раздобыть денег иначе, как заработать, он не умеет.

— Итак, кроме старых часов и штанов, нет ничего... — закончил он.

Я присел на пол у его кровати. Мы познакомились. Он и его жена — гитаристы, работают в каком-то театре. Он держался спокойно и весьма миролюбиво, но было видно, что он, хотя и не очень беспечен, относится к тем людям, которые вряд ли знаются с представителями моего ремесла. В его разговоре были ирония, любопытство и отчаяние. Я понял, что с деньгами у него в самом деле худо. Он шутил, пытаясь казаться бодрым, но ему было не до шуток. Он рассказал о своей жене, о работе. Я — о своей работе, о том, что тоже очень люблю музыку.

— Скажи, у тебя никогда не бывает угрызений совести? — спросил он.

Я признался, что бывает, и рассказал о своих двух системах и о третьей, которую бросил.

— Ну, это робингудовщина, — протянул он. — А почему ты должен так жить? — спросил он опять. — Разве тебе нравится такая жизнь?

Чудак человек! Кому же нравится такая жизнь? А впрочем, когда-то эта жизнь мне действительно нравилась, ведь я же ушел из дому искать приключений... Только какие же это, к черту, приключения? Это даже не приключения, просто живет человек, прячется от всех и всего. А во имя чего? Надоели мне они. И получается, что когда-то я их искал, а теперь, вроде, они меня ищут...

Странно, никогда об этом не думал, но вот зашел в этот номер, нашел этого человека, и вот здесь, на полу, ночью появились такие мысли, какие никогда раньше не приходили в голову. Я подумал: чего, собственно, я здесь сижу? Я, конечно, давно знаю, что мне не следовало бы бежать из дому. И из лагеря я не должен был бежать. Но если бы я не бежал из лагеря, значит, пришлось бы отсидеть девять лет, девять лет ишачить! За это время и горбатым можно сделаться. Только если бы я не совершил побегов раньше, наверное, сидеть бы мне пришлось меньше. Опять «если бы»!..

Если бы не было Пинкертона — я не убежал бы из дому. Если бы не было войны — я не убежал бы в Германию, если бы я не убежал — я не расстался бы с мамой и не попал бы к «лесным братьям», если бы не попал к «лесным братьям» — не сидел бы ни в тюрьме, ни здесь на полу... Так нравится ли мне эта жизнь?

Нет. Но что же мне делать, раз уже нельзя вычеркнуть все эти «если бы»? Если я сейчас появлюсь в милиции, мне придется сидеть в лагере не девять лет, а наверное, больше. А как же тогда Сирье? Она, правда, говорит, что будем ждать всегда, что бы ни случилось. Но разве она понимает, что значит ждать десять лет? И разве она представляет себе, кого она дождется через эти десять лет? А потом, если она не дождется... значит, я ее больше никогда не увижу? Все так сложно.

Незаметно мы просидели почти до утра, пока я не спохватился, что мне, наверное, полезно будет исчезнуть, ведь я уже успел побывать и в других спальнях. Предложил ему свою помощь, которую он принял. На том расстались.

Но вот меня занимает вопрос: должен был он принять от меня деньги или нет?!

С одной стороны, он честный человек, не укравший за всю жизнь ни копейки. С другой — жена у него беременна, у него не осталось ни гроша и он в чужом городе.

Как бы поступил я на его месте? Я пытался представить себя инженером, артистом — все равно, не укравшим за свою жизнь ни копейки... И... не получилось. Я чувствовал себя странно и на вопрос, что бы сделал, оказавшись сам в подобном положении, будучи при этом честным человеком, — не ответил. Просто решил: «Что-нибудь сообразил бы».

Воровство — дело, конечно, рискованное и трудное. Но и работа тоже... всякая бывает. Не все люди профессора, директора и не все рабы денег своих. Этот гитарист несчастный наверняка кое-как концы с концами сводит, и хоть работа его — не мешки таскать, он тоже ничего больше не умеет, и отними у него деньги, что он за дело свое получает, — задохнется, как рыба, вынутая из воды.

Но постой! Я же просил его, чтобы он мне что-нибудь посоветовал. Он ничего не посоветовал. Может, он принял от меня деньги как от человека?..

Очень все сложно, черт побери!

■

В этой квартире я был по наколке. Мне сказали, что там есть деньги. По пожарной лестнице поднялся на четвертый этаж и взобрался на балкон. Была ночь, накрапывал дождь. Я снял стекло, открыл дверь и вошел. В квартире было тихо, тепло, темно. Осмотрел все углы — денег нет. Прошел в спальню — спящие женщины, не разобрал какие. Две кровати, две женщины. Полез под кровать, пощупал матрацы снизу — ничего не оказалось. Вылезая из-под кровати, увидел обувь — женские туфли, старые, стоптанные, и детские, тоже старые. У состоятельных людей перед кроватью лежат комнатные тапочки, а здесь — старые башмаки. В маленькой тумбочке нашел восемь рублей и мелочь... Разве это деньги? Положил на место. Пошел на кухню, увидел на столе письмо.

«Дорогая Катрин! Не могу тебе прислать денег до первого. Поэтому постарайся протянуть, а там пришлю. Насчет Лейли не волнуйся, ее там не так уж плохо кормят. Ей скоро сделают операцию, тогда она и сама не захочет кушать. Ей ничего носить не надо. И постарайся ее как можно дольше там продержать. Ты не беспокойся, их там кормят хорошо. Она даже поправится, вот увидишь. Насчет меня не сомневайся, я свой отцовский долг помню...» Брошенная жена.

Подвел меня накольщик, в этом доме не оказалось даже хлеба. Как мне это надоело. Жил бы я этак пару столетий тому назад, тогда были разные графы, князья, купцы...

С сердцем моим стало плохо, что-то тянется к нему своей рукой, скребет ногтями по нему — совесть, одно из тех понятий, которых в нашей среде не признают. И правильно делают. Плохо, когда по сердцу скребет совесть.

■

— А-а-а!

Кто это кричал? Я вскочил, как ужаленный. Тотчас кто-то сильно постучал в дверь. Я быстро оделся, открыл. В коридоре люди.

— Товарищ, — спрашивают, — что у вас случилось, почему вы кричите?

— Это разве я кричал? Это не я.

Закрываю дверь. Но кричал я. Мне или мерещилось что-то, или видел что-нибудь во сне... Не знаю. Но это, конечно, кричал я. Потом я лег и скоро уснул. А потом опять проснулся.

«Мой час настал, и вот я умираю...»

Что это? Музыка где-то — ария Каварадосси. Больше заснуть не удастся. Лежу с открытыми глазами, и, сколько их ни гоню, перед глазами проходят разные картины. Вот убийство Саши Ташкентского, его зарезали в лагере, в закрытом бараке, воры. Я вижу, как он мчится по бараку, а за ним гонятся воры, вот его настигли, добивают... Потом вспомнил Олега Румяного. Появился страх, безотчетный, животный страх. Вскочил, опять

оделся, начал бегать из угла в угол, как привык в тюрьме. Чего я, собственно, боюсь? Милиции? Нет. Смерти? Наверное, да. Хочется в Таллин. Когда я с Сирье, вроде не страшно.

■

Нахожусь в одном совершенно чужом, но гостеприимном доме. Пришел сюда вчера бог весть откуда и завтра опять куда-то уйду... Но если бы кто знал, как мне не хочется отсюда уходить!.. И не потому, что это место самое лучшее в мире, а потому, что очень надоело бродить, надоело бояться, потому что хочется жить среди людей, в тепле, в покое.

В печи весело потрескивают дрова, из кухни слышится звон посуды, хлопоты хозяйки, готовящей ужин, и детские голоса; у моих ног, о чем-то мурлыча на своем кошачьем языке, трется белый пушистый котенок. Все такое домашнее, только... я здесь чужой. Я просто попросился на ночлег, но, переутомленный, проспал сутки. Они меня ни о чем не расспрашивают, и я им за это очень благодарен. Не часто мне приходится встречать скромных, бескорыстных людей.

Я помню, как однажды был вынужден бежать из одного дома, где также остался ночевать, потому что случайно подслушал разговор хозяев, собиравшихся заявить обо мне в милицию, — я им показался подозрительным. Да и что за отдых в чужих домах, где никогда не перестаешь опасаться хозяев?! Недавно в другом доме, где я остался ночевать, со мной случилась совершенно смешная история.

Этот дом, как и его обитатели, был какой-то особенный. Большой, с просторными, очень чистыми светлыми помещениями, которые были просто и красиво обставлены старинной мебелью. В доме жили четыре хорошенькие кошки с белыми бантиками на шее и четыре опрятно одетые старухи.

Я очень устал и ни за что не хотел уходить из этого дома, я сутки не спал, буквально не стоял на ногах. Старушки согласились дать мне ночлег и повели в небольшую, тоже очень аккуратненькую комнатушку, где все стены были увешаны ликами святых. На столе я заметил громадную библию.

Мне предложили садиться, откушать, что бог послал. Тоже неплохо, я был голоден. Накрывая на стол, они спросили меня, не божий ли я человек. Я? Божий человек? Правда, ориентируясь по обстановке, я держался чрезвычайно скромно. Видимо, из этого они заключили, что я, возможно, божий человек. Я сказал, что да, божий, и добавил, что даже окончил духовную семинарию в Тарту. (Бог его знает, есть ли она там.) Незаметно одна из них вышла, остальные меня угощали и занимали благочестивой беседой. Тут тихо открылась дверь, и вошли две старушки; обращаясь ко мне, они сказали что-то связанное с Христом, что именно, я не расслышал. Они сели рядышком на стулья и почтительно на меня поглядывали. Немного погодя пришел старик и еще одна старушка, потом вошел молодой парень с тупыми бегемотовыми глазами. Все они меня приветствовали, и я начал себя чувствовать не очень уверенно.

Они сидели, молчали, смотрели на меня и, видимо, выжидали, когда я кончу трапезу. «Что тогда?» — спрашивал я себя и старался отдалить эту минуту, пересасывая по три раза каждую обглоданную косточку. Ел, ел, но сколько можно — человек не бочка. Кончил. И тут мне говорят, что это собрались братья и сестры по редкому счастливому случаю, послушать слово божье. Затем мне придвинули тяжелую библию.

До этого мне проповедовать не приходилось, но я взял библию и начал читать, как умел, тихим голосом. Ну, а потом своими словами объяснил прочитанное. Слава богу, библия, по-моему, настолько запутанная книга, что ее можно толковать по-разному. Потом мне это надоело. Я сказал, что в сущности библия — это букварь для начинающих, и начал шпарить из головы о премудрости всевышнего. И влип.

Я настолько увлекся, что начал пророчествовать о таких великих временах, когда господь отдаст людям, верующим в него, другие небесные планеты, потому что на земле станет так тесно, что люди будут ходить впритык, как в таллинских трамваях в часы пик. Тут меня прервала удивленная паства: они не сказали мне ничего, просто по одному вставали и, шепча себе что-то под нос, тихо уходили. Ко мне подошла одна беленькая старушка, взяла библию и унесла; а другая сказала: «Идем отдыхать, сынок. Ты устал».

Я поднялся и ушел в свою комнату.

Откровенно говоря, мне было немного неловко, я, кажется, злоупотребил чьим-то гостеприимством: какое мне, собственно дело до того, кто кому поклоняется, а эти меня все-таки накормили. Вскоре все живое в доме уснуло.

«Чем я не святой по сравнению с попами? — в озлоблении думал я. — Милосердия к бедным у меня куда больше, у бедных, как они, не сосу, а имущества у меня, как у святого, — никакого, одной святостью, если разобраться, сыт».

Я, хоть и очень устал, лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к еле слышному сопению и храпению кошек, которые, все четверо, устроились на большом сундуке, неподалеку от меня, совершенно пренебрегая своими прямыми обязанностями в ночное время. Не могу сказать, сколько я так пролежал, как вдруг услышал странные звуки, будто кто-то тихонько ко мне подкрадывается.

Звуки приближались к моему изголовью, потом их не стало слышно, но вдруг что-то холодное, отвратительно липкое всунулось мне в ухо и засопело... Я изо всех сил ударил этот ночной кошмар кулаком. Послышался отчаянный визг поросенка и затем возмущенное хрюканье обиженного животного, проникшего каким-то образом в мою комнатку.

Поросятам я вообще-то симпатизирую, но что за жизнь, если приходится пугаться даже поросенка!.. Хочу в Таллин, страшно тоскую по Сирье.

■

Что такое побег?

Физическое ощущение свободы — и только.

■

Здравствуй, Сирье!

Сижу на вокзале и пишу тебе письмо, которое ты не получишь, потому что я запишу его в свой дневник. Мне так нужно сейчас с кем-то поговорить, а не с кем — вокзал есть вокзал, людей кругом сколько угодно, но какое им дело до меня?

Сир, мне надоело лишь играть роль человека, я хочу им быть. Я всегда смеялся над тобой, над твоими нравоучениями, но сейчас, вот сегодня, здесь, на вокзале, я понимают, что ты не стала бы со мной ни о чем говорить, если бы не была уверена, что я стану человеком!

Я сегодня наблюдал, как работали строители. Они рыли котлован, были увлечены делом. Я подошел к ним, и они все на меня с любопытством уставились: мол, что за личность, в шляпе — штымп какой-то. Какая-то шустрая девчонка спросила:

— Вы новый каменщик?

Не знаю почему, но я сказал — да. Они мне все представились, жали руку. Спросили, когда выйду на работу. Я что-то соврал. Когда они закончили работу и пошли мыться, я пошел с ними. На миг почувствовал себя, как они. Никакой опасности, определенность. А потом они пошли домой, а я — на вокзал. Сейчас они все, наверное, разбежались, кто в кино, кто в школу, кто на свидание. А я размышляю о том, куда направить свои стопы отсюда, и завтрашний день для меня так же в тумане, как и послезавтрашний.

Для меня существует одна-единственная категория людей, такие, как Рест, Пузо, Проныра и прочие. С ними мне не надо притворяться, потому что они такие же, как и я. Нас вечно окружает атмосфера жестокости, опасности, подлости: нам доступны только физические удовольствия от вкусной еды, если удастся вкусно поесть, от женщин, которых нам любить некогда и невозможно, от вина. А когда мы встречаем что-нибудь хорошее, чистое, благородное — оно нам кажется недоступным, мы чувствуем себя разбитыми, пустыми, стараемся высмеять все хорошее, оправдываясь своей философией, которая, конечно же, нас оправдывает. Мы ищем общества только таких, как мы. Иные пути, чем те, которыми идем, для нас вроде неприемлемы, хотя они, может, не менее трудны, чем те, которыми мы идем. А пути другие существуют, и люди другие существуют, и жизнь другая тоже. Но мои пути не могут переплестись с путями-дорогами хороших людей, потому что от них я должен скрываться, перед ними я должен притворяться. Перед ними я только играю роль человека, и то не всегда удачно, потому что нельзя подражать тому, кого ты сам хорошо не знаешь.

И все же я умею подражать, отчего меня подчас и принимают за человека. А то, что меня действительно принимают за человека, меня страшно задевает, ведь я-то знаю, кто я. Мне верят, со мной советуются и мне обидно, что я не тот, за кого выдаю себя. А почему мне верят — сам не знаю. Наверное, потому, что когда я кому-нибудь подражаю, то страшно хочу быть похожим на него, хочу быть похожим на настоящего человека. Вот мне и верят.

Однажды в бане, одеваясь, разговорились с одним пожилым товарищем. Он оказался инженером-мостостроителем, а я представился журналистом. Говорили о разном, и я выглядел таким умным, что самому противно стало. Тогда я сказал тому товарищу, что это все брехня, никакой я не журналист, а наоборот — аферист. Он засмеялся, принимая это за шутку, а потом назвал меня сумасшедшим и здорово обиделся. Получается, Сирье, что когда я говорю о себе правду, то обижаю этим людей.

Сирье, никогда не буду больше насмехаться над тобой, буду тебя слушаться во всем. Скажешь, что мне надо пойти с повинной, — пойду. Я готов за право любить тебя трудиться, как трудятся ради еды, отказаться от своих привычек, бороться и страдать, продавать душу дьяволу, быть покорным и послушным. И, будь уверена, я стану человеком, непременно, вот дай только выбраться из этого тупика.

Сир, мы не можем быть мужем и женой, но мы можем быть больше, чем муж и жена, — мы можем быть друзьями. Я тебя люблю как сестру,

как мать, как женщину, и если можно это чувство выразить в одном слове, то слово это — друг. Именно так я понимаю наши отношения. Ты для меня — жизнь, кроме тебя мне никто не нужен.

А теперь, Сир, до свидания, скоро увидимся. Завтра увидимся.

■

Все мужчины озабочены, бегают по магазинам, а покупать-то нечего, все уже распродано. Цветов не достать, надо было раньше, дня за два, за три.

8 марта.

Женщины задирают носы и, пожалуй, имеют на это право. Я не бегаю, ничего не покупаю. И не потому, что некому, ведь есть у меня любимая женщина. Но моя любимая женщина не примет от меня никакого подарка, потому что знает — денег я не зарабатываю. Все, что я могу для нее сделать, — обнять и вручить ей подарок, раздобытый самым честным образом, — шишки. Я за ними лазил на две высокие ели, расцарапал лицо и руки, но букет из этих лесных красавиц получился изумительный.

— Сегодня наш день, — говорят женщины.

Да, сегодня их день. Сегодня день Сирье, день Кадри и мамы. Где бы вы ни были, мамочка, Кадри, я в мыслях своих поздравляю вас и дарю вам цветы, самые красивые.

■

Я не стал звонить, тихонько вставил ключ, но он не поворачивался. Дверь внезапно открылась, на пороге стояла незнакомая пожилая женщина. Она внимательно меня рассматривала.

— Вы Ахто? Сирье нет.

Я спросил, где она. Женщина ответила не сразу, потом чуть слышно сказала:

— Умерла.

Мне казалось, женщина эта сошла с ума. Я ворвался в квартиру. Но ее не было. На прежнем месте стоял ее портрет, все было, как всегда, тепло, уютно, чисто, но ее не было. Это была не шутка.

— Когда она умирала, — говорила женщина, — она сказала, чтобы вы сюда, в ее квартиру, никогда не приходили и вообще уехали куда-нибудь. Она, видно, очень вас любила...

Я спросил, что она сказала еще. Женщина ответила:

— Ничего. Она была без сознания, а когда пришла в себя, сказала это, а потом она уже не могла говорить, только плакала. Ну, а потом... умерла.

— Почему... умерла? — спросил я машинально.

Ответ был неожиданным:

— Ее убили!

Сирье убили дома, ей нанесли два ножевых удара в грудь. Произошло это ночью, и все же утром она была еще жива. Нашла ее тетушка, приехавшая к ней в тот день из деревни. Это та самая женщина, которая открыла мне. Сирье доставили в больницу, и там она к вечеру умерла.

Кто ее убил? Этого никто не знает.

Похоронили ее муж и товарищи из института. Женщина проводила меня на кладбище. Я отнес Сирье шишки.

Смерть Озе...

Ставлю эту пластинку уже сотый раз, слушаю, слушаю ее. И мне кажется, что в самую страшную минуту я здесь, около нее, вижу ее полные слез, печальные глаза, целую ее в последний раз, облегчаю ей последнюю боль. И вот она умирает... умерла. Ее нет.

Она подставила мне свое маленькое, слабое плечо, хотела поддержать, надеялась на счастье и поплатилась за это жизнью. Я знаю, ее убили люди Ораса. Я в этом уверен. Они боялись ее как свидетеля, ведь они пытались через нее поймать меня. А я, спасая свою жизнь, оставил ее, сбежал из Таллина...

Осколки не принесли счастья Сирье.

Можно слезами выплакать горе, но нельзя никакими словами описать его. Видимо, есть все же на свете справедливость...

Сирье — моя жертва. Она умерла из-за меня. Я приношу людям лишь горе, а иначе и быть не может. Люди — это общество, а я — один. Тот, кто хочет быть полезным своим близким, кто хочет жить с ними, любить их и быть любимым, тот должен быть человеком, жить в обществе. Сирье погибла. А я остался, чтобы дальше причинять людям горе. К черту все мои «системы», к черту Пузанова, Реста и прочих! Нечего дрожать за свою паршивую шкуру. Отныне я не боюсь ни Ораса, ни милиции. Поймают? Ну и ладно, все равно этого не минуешь. Но прежде я должен найти Ораса и рассчитаться с ним. Иначе я не мужчина, иначе я не человек.

■

ТЕТРАДЬ ДЕСЯТАЯ
ГОД 1955

Бегают мальчишки, маленькие:

— А ну, не догонишь!

И бежит один карапуз за другим. Им по пять-шесть лет. Бегают они взад-вперед, соскакивая с тротуара, того и гляди попадут под машину — и машины мчатся мимо беспрерывным потоком. Прохожий гражданин хватает одного из них за ухо и загоняет во двор соседнего дома.

— Во дворе играйте, нельзя на улице.

Он уходит. Мальчишки во дворе.

Они не его дети. Все проходили и ничего малышам не говорили. И он мог пройти. Но подумал, что, если один из них попадет под машину, в какой-то семье будет горе. Это был хороший человек.

Южная самба. Я в нее влюблен. Меня привлекает темперамент и какой-то особый характер ее — настойчивый, живой, определенный. Я ничего о музыке не знаю, но люблю ее. Интересная штука — жизнь: кто-то написал музыку, не подозревая, что какой-то совсем серый человечишка будет слушать ее много раз в день... Эта музыка как будто говорит о том, что, хотя на свете есть смерть, есть также и жизнь, и ей, южной самбе, наплевать на смерть, она создана для жизни, она — жизнь. Слушая ее, я как будто вижу всю жизнь, которая, покачивая бедрами, танцуя, надвигается на меня. Она голая, натуральная, без прикрас — жизнь, такая, какая есть. Немного страшная, но удивительно хорошая; та самая жизнь, в которой, страдая, живу и за все плохое и хорошее все же люблю ее.

■

Сегодня хоронили девушку, которая умерла от сифилиса и еще от какой-то другой болезни. Девушка их скрывала, вот они совместными усилиями и уложили ее в гроб. Я знал эту девушку. Встретил ее как-то на окраине города. Она сидела на бревнах, уложенных рядом с тротуаром, и курила. На вид ей можно было дать лет пятнадцать. Она была бледная, в лице ни кровинки.

Я спросил:

— Куришь?

— Курю, — ответила она.

— И водку пьешь?

— Пью, а что? — сказала она.

— Зачем? — спросил я.

— Хочу, — ответила она.

— Отец знает?

— Перебьется, — ответила девушка.

Она была светловолосая, в голубых глазах враждебность ко всему окружающему, и, если бы не платье, бедное, но с претензиями на какой-то стиль, ее можно было бы принять за сектантку, такая она была угрюмая и бледная.

— А мама, — продолжал я, — знает?

— Она сама курит, — ответила девушка. — В нашей компании все курят.

Я поинтересовался, большая ли у них компания и скольку лет самому старшему. Оказалось, что компания небольшая, что самому старшему двадцать два, а самой младшей пятнадцать, ей же — семнадцать.

Я начал убеждать ее бросить эту вредную компанию, она слушала меня явно насмешливо и, наконец, сказала:

— Попался бы ты нашим парням, они бы тебе показали «вредную компанию». Эх, ты, а я думала, ты меня в ресторан приглашаешь...

На том мы расстались.

Но вскоре после этого я шел вечером через тот же парк и набрел на шайку молоденьких девчат и парней, сидящих на скамейках в аллее. Чей-то голос произнес:

— Это тот самый тип...

И передо мной с угрожающим видом стали два молодых парня.

— Так, по-твоему, наша компания паршивая? — спросил один из них, а все остальные вызывающе засмеялись.

Они думали, что мне будет не по себе. Но они не знали, что бить таких щенков для меня одно удовольствие. Не успели они ахнуть, как я их расшвырял. Потом мы нашли общий язык. Кто-то сообразил, что я «свой», они стали бормотать извинения, мол, ошиблись, приняли меня за кого-то другого.

Потом я часто встречал Натку (так звали эту девчонку), и однажды она сказала, что бросила курить. Так ли это? Но она так сказала и при мне никогда не курила. К сожалению, она была уже давно не девочка, следовательно, лишь о дружбе между нами не могло быть и речи; я был для нее мужчиной, но она для меня не была женщиной, потому что я любил Сирье.

Постепенно я узнал кое-каких ребят из этой компании, они при встрече со мной стали приветливо здороваться, и вот вчера на улице ко мне подошел паренек и сказал:

— А Натка-то умерла, завтра хоронить будут. Отец плачет, а мать пьянствует.

Жалко мне ее, она не успела еще пожить, глупышка, о чем-то мечтала, что-то воображала и вот умерла, а ее мама пьянствует. Она хотела, чтобы я любил ее, а я любил Сирье. Так бывает, мы часто любим тех, кто не любит нас.

А южная самба звучит все равно — любят люди или ненавидят, живут или умирают. Южная самба — это жизнь, бесстыжая, милая жизнь, с которой расстаться никому не хочется.

■

Шел по улице и увидел бежавшего мне навстречу человека. Ему, должно быть, лет тридцать. Одет в приличный темный костюм. Опасливо стреляя взглядом по сторонам, он бежал изо всех сил, стремясь оторваться от пожилого полного лысого человека, бежавшего тоже изо всех сил за ним. На лице полного человека злоба, глаза его устремлены вперед, в них лишь одно желание: догнать, поймать, уничтожить! Он бежит тяжело, дышит часто и хрипло кричит:

— Держите! Держите его!

Расстояние между ними не сокращается и не увеличивается. Молодой человек в темном костюме перебегает мостовую. Он тоже дышит часто, в его глазах, беспомощно шарящих вокруг в поисках спасительной лазейки, страх, безумный страх, в них только одно желание: скрыться, спастись. Он исчезает за углом, вслед за ним, по-прежнему хрипло выкрикивая: «Держите! Остановите!», исчезает также полный гражданин.

Что мог совершить парень в темном костюме? Конечно, какую-то гадость, иначе зачем ему было спасаться бегством средь бела дня. Как он бежал... Какие глаза... Бог ты мой, какое унижение — так бежать, с такими сволочными глазами!

■

Нахожусь у супругов Сипельгас. Они не знают правды обо мне, как и все люди, встречающие меня ежедневно. Они знают, что я друг Сирье, и разделяют мое горе. Сейчас они куда-то ушли, маленьких муравьишек у них еще нет, и я один. Приведу в порядок свои записи, запишу вот это последнее, а уходя, оставлю их здесь — думаю, здесь они будут в сохранности, куда бы меня не загнала жизнь.

Семь дней тому назад в Каркси-Нуйя, в берлоге скупщика краденого товара по прозвищу Вещичка, я встретил долговязого парня по кличке Лис. Лис этот тоже скрывается от правосудия. Вещичка, знавший мою кличку, щегольнул остротой: «Волк и Лис — подходящая пара». Лис обещал ввести меня в хорошую компанию и позвал с собой. Мне не очень нравилась его кличка, но победила моя проклятая любознательность. От Вещички, вооружившись лыжами, мы ушли вместе. Шли лесами, полями, болотами, и привел он меня в совершенную глушь, в болото, на хутор по названию Трясина. Во дворе нас встретила большая косматая дворняжка, весьма ленивая, но, по-видимому, добродушная; она, дружелюбно помахивая хвостиком, последовала за нами в дом.

Большое помещение, куда мы попали прямо с улицы, оказалось кухней. Посредине ее, заставленный всякой снедью, стоял длинный стол; за столом восседала веселая компания. Вот здесь меня и ожидал страшный сюрприз. Я похолодел, заметив среди пирующих Ораса, узнавая также и других. Здесь были Лонг, Ребус (с которым как-то в Вильянди у меня со-

стоялась «любительская» встреча на ножах), и даже Каллис, которого в душе не перестаю считать исполнителем приговора над Сирье. Остальные пятеро были мне незнакомы. Но и этих знакомых было более чем достаточно.

Не меньше была удивлена и сама компания. Лис завел меня сюда, совершенно не подозревая, какую оказал услугу своим друзьям.

Стараясь сохранить спокойствие, изображая некое подобие улыбки, я подошел к Орасу, подал руку. Он ее принял: это уже показалось добрым знаком. Я потряс его противную лапу, и в то время, когда Лис и остальная компания, удивленно разинув рты, глазели на меня, заговорил. Говорил, что давно ищу эту чудесную компанию и мечтаю войти в нее, что чрезмерно рад осуществлению своей мечты; рассказал, что живу, как сирота, без друзей и пристанища; что гоним милицией; что надоело вертеться между двух огней и так далее. Они слушали, раскрыв ротики, и когда я кончил, загалдели все сразу. Тогда заговорил Орас, и остальные братья-разбойники прикусили на время языки.

Он не мог отказать себе в удовольствии вылить на меня ушат грязи, покрыть насмешками, но в конечном счете я понял, что шкуру с меня спускать он не собирается. Покосившись на Лиса, я заметил, что тот уже сует свою морду в кружки с брагой, и убедился, что от него опасность не угрожает (он мог сообщить, что я не очень-то мечтал найти эту компанию). Преподнес Орас брагу и мне, говоря при этом, что мы как-никак соратники давние, бывалые и тому подобное. Он объяснил, что здесь собрались его близкие друзья — отпраздновать годовщину существования их «союза», что завтра, мол, все разъедутся. А потом...

— То, что к нам пришел, хорошо. Мы тебя принимаем. Зла на тебя не имею, хотя сам знаешь, есть за что... Но, как сказано: кто старое помянет — тому глаз вон. Только вот что... В общем, нужна гарантия твоей верности. — Глаза Ораса недобро заблестели.

Я не знал, что могло быть такой гарантией, но мне объяснили. Предложили пойти на лыжах в колхоз по соседству и убить женщину — Эллу Реги, ярую коммунистку, которая якобы немало навредила «союзу». Реги жила в маленьком доме, на отшибе. Я не мог отказаться и сразу собрался в дорогу. Со мной отправились трое самых трезвых из компании. Хотя у меня было оружие, мне дали парабеллум.

За то время, пока я находился среди них, один лишь Каллис не заговорил со мной и держался крайне враждебно; остальные, даже Ребус, выпили мировую.

Выпив по последней чарочке, я и мои конвоиры отправились в путь. Шли гуськом. Один из людей Ораса впереди меня, двое сзади. Когда отошли от хутора километра на три и втянулись в густую еловую чащу, я, улучив минуту, упал в снег и открыл огонь по моим провожатым. С первых же выстрелов уложил двоих, третий, не пытаясь отстреливаться, побежал обратно к хутору. Этого нельзя было допустить. Я пошел вслед и скоро стал его догонять. Он, видя это, завернул в лес, туда его преследовать я не пошел. Вернулся к убитым, забрал еще два парабеллума и пошел назад к хутору.

Никогда не думал, что можно так хладнокровно убивать людей, я никогда не был более спокоен, чем тогда, шагая к хутору. Я даже предвкушал удовольствие от предстоящего. На хуторе остались, включая хозяйку, восемь человек и собака. Из них мне нужны были двое. Когда я тихонько открыл дверь в кухню, за столом увидел лишь двоих — Лиса и Ребуса, оба были пьяны в дым; они почти не обратили на меня внимания. Эти были

мне не нужны, и, убедившись, что они безвредны, я пошел через полуоткрытую дверь в соседнюю комнату. Там спали на полу два незнакомых мне члена компании, хозяйка (костлявая старуха) и собака у ее кровати. Я подошел к спящим «членам» и конфисковал их оружие.

Еще одна дверь вела из кухни в боковую комнатушку. Осторожно приоткрыв ее, я увидел Ораса. Он, сидя за круглым столиком, рассматривал какую-то фотографию. Двое других (Лонг и Каллис) лежали, один на полу, другой на кровати, и, по-видимому, спали. Наставив на Ораса парабеллум, я тихо окликнул его и, когда он обернулся, выстрелил. На выстрелы двое других вскочили и, ничего не соображая, уставились на меня. Лонг мне был не нужен, но Калисса я превратил в решето. Поклонившись Лонгу, я закрыл дверь и повернулся к тем двоим, что сидели за моей спиной. Но увидел лишь Ребуса, который беспомощно пытался выбраться на улицу и никак не мог попасть в дверь. Единственный, кто трезво реагировал на все это, была собака. Она в спальне заскулила, залаяла. Уйти мне никто не помешал.

Что же, не надо больше опасаться их, но что-то устал я и физически и душевно. Старею, наверно. Надоело уже быть волком. Приключения давно потеряли всякую прелесть, а счастье... счастье нужно создавать, а не искать. Счастье для меня сейчас — немного покоя. Совсем мало, а достичь невозможно.

■

Недавно узнал о разгроме Пузанова. Об этом рассказал Рест, который, чувствуя за спиной дыхание правосудия, собрался в неведомые края. Конечно, если уж Пузо сорвался, что же остается делать Ресту...

Ну, а мне что делать?

Дороги жуликов, мошенников, воров, спекулянтов, всех правонарушителей, где бы они не ходили, ведут в Батарею, и мне не миновать ее. Отвратительное это заведение! Но и скрываться надоело, лгать надоело изо дня в день, без конца. Как хорошо было бы говорить о простых вещах, не опасаясь проговориться. Вот проходят мимо окон люди — парни, девушки, им весело, они дружат, любят, создают свое счастье. А для меня это — словно сказка. И рассказать теперь некому. Каждый день давит меня свой тяжестью, я ощущаю вес каждой минуты, каждой секунды, а сколько на свете людей, которые даже и не подозревают, что время имеет вес...

Подбивая баланс, я установил, что, прожив двадцать пять лет, из них тринадцать в поисках острых ощущений (от которых весьма заметно отупел), я не знаю, человек ли я.

Ах, если бы это было возможно, если бы можно было вот так, сразу, незаметно перейти из одной жизни в другую, одним махом вычеркнуть прошлое, начать новую жизнь. Но нет, это невозможно: чтобы перейти в другую жизнь, нужно идти туда — в чистилище, к аллигаторам, ягуарам, волкам, среди которых ты быть не хочешь, где тоже ждет тебя одиночество. Нет! Но тебе плохо. Тебя тяготит одиночество, мучает страх, ты опасаешься недоуменных взглядов прохожих, вызванных твоим жалким измученным видом; ты сторонишься смеха, улыбок; у тебя боли — в желудке, в душе, в раненых ногах — полная деформация человеческого облика. Ты заставляешь себя смеяться над тем, что тебе нужна бы диета... Но что же еще остается? Только смех. Чтобы выздороветь, нужно быть сильным, питаться по-человечески, вообще жить по-человечески. И это было бы возможно, если бы около тебя была хоть одна любящая душа. А если ты

один, совсем один? Можно, конечно, не обращать ни на что внимания и... смеяться. Но не смейся над теми, кто разделяет твою судьбу и твои чувства, — они несчастны, им плохо. Да и тебе плохо. Ты — вор. Твой удел — тюрьма, небытие. Сейчас у тебя есть свобода, но что она стоит, твоя свобода, в вечном страхе за жизнь, за шкуру, перед разоблачением и стыдом?.. Вот именно — стыдом. Ты боишься того момента, когда тебе придется смотреть людям в глаза и рассказывать им о себе. А кажется, тебе не избежать этого дня. Он неминуемо наступит. Что тогда ты скажешь? Ты не знаешь. Так надо думать. Если ты что-то хочешь понять — пошевели мозгами. Постепенно шарики твои начнут крутиться в голове, и глядишь — что-то поймешь. Вопросов у тебя хватает, и нужно найти ответы.

■

Помню, как однажды в лагере видел пожилого вора, который меня страшно обругал за то, что я его видел плачущим, но после разыскал и извинился.

Я его не понял тогда. Я понимаю его теперь.

■

В поезде Таллин—Кохтла я так увлекся «Восходом солнца» Гайдна, что не заметил, как был арестован. То есть заметил это с опозданием. Именно в тот момент, когда у меня потребовали документы. Их было двое. Не скажу, что очень испугался (я внутренне к этому был готов), хотя и не обрадовался. Я сунул им свои липовые шпаргалки. Они их, не читая, спрятали в карман, а меня — в Батарею. Итак, все дороги ведут в Рим...

В общем, очутился я в знакомой 60-й камере, и начали меня «раскалывать». Что касается меня, я и не старался ничего скрывать, раскалывался вполне добровольно, можно сказать, добросовестно, и даже чересчур. Дело в том, что следователи после кропотливого, терпеливого труда, ухлопав на твое недостойное существо уйму нервов, здоровья, накопив потихоньку гору разоблачающего тебя материала, радуются, что могут тебя, наконец, положить, так сказать, на обе лопатки. Они предвкушают сладость заслуженной победы. А тут... что же это получается? Этот недостойный вдруг заявляет, что следователю известно еще не все, что, например, обворовано не две, а пять квартир. Где? Когда? Что? — возникает уйма вопросов, нужно разыскивать потерпевших, наводить справки, устанавливать новые факты... Выяснять, устанавливать. И писать, писать, писать. Бесконечно. Закончив, наконец, со всем этим, мой следователь посматривал на меня уже со страхом: не заявит ли этот сумасшедший еще что-нибудь. Он мне так и сказал: «Странный вы человек, зачем вам было во всем признаваться, ведь теперь получите на полную катушку». Но, должно быть, он и сам понимал, в чем дело, потому что спросил: «Что? Легче стало?» Катушка мне полная так и этак обеспечена — две квартиры обокрал или пять, а легче действительно стало.

Судили меня в маленьком городке Тырва, в этом районе были самые значительные приключения. Ну и, конечно, дали «потолок» — десять лет. Сказать, чтобы все обошлось гладко, нельзя — взрыв все-таки получился. Мое презренное сознание взбунтовалось еще раз, напоследок. Это было в КПЗ. Вдруг я подумал: «Ты сошел с ума! Десять лет тюрьмы — это же бесконечно. Зависеть постоянно от чужой воли, всегда под конвоем, работать, работать, как мул, терпеть общество всяких там отбросов, пускай да-

же таких, как ты сам. Нет! Не надо! Завтра тебя увезут в тюрьму, и тогда будет поздно. Это надо сделать сегодня».

И я стащил во время судебного заседания печную заслонку и удачно пронес в камеру. Взломал деревянный пол, разворотил землю под полом и наткнулся на толстый слой цемента. Разбил на маленькие кусочки заслонку об этот цемент и в бессильной злобе заплакал, облизывая разбитые, израненные пальцы. Затем постучал в дверь и вызвал надзирателя.

Это на меня нашло умопомрачение, на миг словно забылась и Сирье, и все продуманное, на миг запротестовал Серый Волк, не желающий умереть. Нет, он не собирается умирать. Наверное, еще не так скоро удастся мне свести с ним счеты. Что готовит он мне в дальнейшем?

■

ТЕТРАДЬ ОДИННАДЦАТАЯ
ГОД 1960

Родился человек. И сразу начинает получать, сперва от матери — питание, ласку, уход; от отца — любовь, защиту, ну и, конечно, нередко ремень; от общества — знания различные. Он родился, он уже есть. Но времени он не замечает. Возможно, его желания уже не совпадают с требованиями окружающих. Но так или иначе — время для него не имеет пока еще никакого значения, годы ему кажутся длинными, жизнь — бесконечной. Первые сознательные годы человек с нетерпением ждет, когда он повзрослеет. Потом он становится взрослым, но еще молод, а жизнь интересна, он живет и опять не замечает времени, не замечает, что годы уже не такие длинные, они стали чуточку короче, меняются быстрее, чем раньше. Пройдет еще много лет, пока он это заметит и вдруг откроет для себя, что годы, собственно, летят с чудовищной скоростью, а жизнь и вовсе не бесконечна. Он обнаружит, что и не жил еще совсем, что жить надо было подругому, иначе. И тут он задаст себе вопрос: почему? Почему не понял этого раньше, почему не заметил? Сперва не думал, потому что думать не умел; затем не думал, потому что некогда было уже думать, а когда нашел на это время, когда научился думать — уже поздно. Половина жизни позади.

Вот их минуло уже шесть с тех пор, как закончились похождения Серого Волка на воле и я приобрел чувство определенности в Батарее, в шестидесятой камере. Шесть с лишним очень долгих лет в борьбе со своими собственными представлениями о жизни вообще и в поисках точки опоры. Ничего за эти годы не прибавилось в моей тетради, ничего я не писал, и не потому, что мне кто-нибудь запретил, — не хотел. Бывает же, что, следуя привычке, по утрам чистишь зубы, занимаешься утренней гимнастикой и все такое, но в один какой-то день что-то случается с твоей психикой, ты перестаешь чистить зубы, заниматься гимнастикой, а также писать дневник. Считаешь, что это ни к чему, ребячество, бессмысленно. И вот после долгих шести лет пассивности и безразличия сегодня, находясь в этой камере, в совершенном одиночестве, я достал свои основательно потрепанные тетрадки, перечитал их, и тут в моей психике произошла революция: жизнь твоя была плохая, прямо-таки паршивая, но все же это—жизнь, а ты—человек; ведь стоит тебе самому перестать считать себя человеком, как ты и не будешь им. Ты прожил скверную жизнь, спору нет, и в основном по своей же вине. И все-таки это была жизнь. И последние шесть равнодуш-

ных лет — тоже жизнь. Это та необходимая часть твоей жизни, без которой ты не очутился бы в настоящей ситуации, не написал бы того, что сейчас собираешься писать.

Да, я еще не знаю, что именно сейчас напишу, но в душе бурлит, я уже не в силах не писать, подчиняюсь руке, а она моим мыслям. Сейчас я бесконечно рад, что не уничтожил, не выбросил перед последним побегом свои записи, чувствую — они моя судьба, они — это я, я — они. Я где-то сливаюсь с ними, им рассказываю, у них учусь. Они не только занимают мое время, но и помогают разобраться в самом себе, помогают думать. Помню тот день, когда я впервые начал записывать свою жизнь. Почему я это сделал? Я был тогда «знаменитый Серый Волк» из неизвестного племени босоногих «индейцев», проживающих на острове Саарема у старой пристани в устье реки Тори, в старой, дырявой, схороненной в камышах яхте. Кошкин череп... Турецкий ятаган и знаменитый пират Себастьян дель Корридос... Я начал все это записывать просто так, захотелось быть героем, подобно тем, о которых я тогда читал в приключенческих романах, которые жили в моем воображении и манили в мир. По сути я и стал чем-то на них похожим, на свою беду. Единственное, что у меня, в отличие от них, имеется положительного, — это моя привычка писать дневник. Это дает мне теперь возможность наблюдать себя как будто со стороны, и жизнь тоже.

Конечно, прав доктор, вернувший мне жизнь, когда я, совсем дойдя до точки, перерезал себе вены и собрался на тот свет. Он сказал:

— Молодой человек, ваша мать родила вас не для смерти, а для жизни, и если вы потеряли тех, кто вам дорог, то не забудьте о тех, кому вы сами дороги... — Еще сказал он: — Если вы потерпели в жизни поражение, если вы жили неправильно, из-за этого не стоит бежать на тот свет, там вы ничего не исправите, но на этом можете все изменить и начать жизнь снова.

Он прав, но чтобы в совершенстве осмыслить эту правду, мне пришлось забраться вот в эту темную камеру в подвале балашовской тюрьмы, куда я приехал две недели назад, чтобы отбыть здесь три года из моего все возрастающего срока. Тюрьма эта похожа на все другие тюрьмы, и население ее в основном тоже ничем не отличается от жителей других мест заключений. Я намерен отдыхать здесь, насколько можно отдыхать в тюрьме. Отдыхать от всего того, от всех тех, кого терпеть уже нет сил, с кем меня ничто не связывает, кроме замков и колючей проволоки. Однако чувствую, нелегко мне это удастся: начальство не может понять, почему мне захотелось уединиться, и тревожить оно меня, несомненно, будет. Вот уже две недели живу один. Хорошо! Мог ли я думать десять лет назад, что буду довольствоваться более чем скромной тюремной камерой, чтобы испытывать удовлетворение от существования. Но, конечно, только от существования... А это так, я доволен и молю судьбу, чтобы она позволила отбыть эти три года именно так. Займусь основательно русским языком.

Да, шесть с половиной лет прошло. Но я помню все, как будто это было сегодня. И ее помню, судью... Она красивая, обаятельная, со светлыми глазами, открытым, прямым взглядом и светлыми пышными волосами. Помню, как она выступала на суде, властная. Умна ли она? Не знаю... Наверное. Во время заседания она порою склоняла свою красивую голову к заседателям — сперва направо, затем налево, и заседатели нашептывали ей что-то. Она смотрела на меня, а я думал о том, как она меня находит: интересным или нет, мог бы я ей понравиться как мужчина или нет... Многое бы отдал тогда, чтобы узнать, о чем она думала. Мне было очень боль-

но, когда надо мной насмехались охранники, потому что это слышала она; и было больно, когда меня ругали потерпевшие, — потому же... Я устал от жизни, потерял Сирье. Но я был влюблен в нее. Интересно, все люди так устроены или только я?

Меня судили несколько дней, а я все глядел на нее, на эту красивую женщину, и во мне взбунтовался Серый Волк. Он не хотел умирать, он хотел на волю. Но из этого у него ничего не вышло. Когда она читала приговор, я смотрел на нее влюбленными глазами и мечтал только об одном, чтобы это длилось как можно дольше, но все же продолжалось это не вечно... Потом пересылки, и, наконец, Урал. Привели в строгорежимную колонию, где обитали воры. Дела у воров шли все хуже и хуже. От прежних привилегий остались рожки да ножки: в законе, не в законе — на работу гоняли всех, и о кострах нужно было забыть. Вкалывали они, как и все. Оказывается, воровские колонии, как и «масть» эта, ликвидировались повсюду. И хотя это так, воспоминания прежних лет, когда они еще «господствовали», делали мое существование вместе с ними тяжелой пыткой.

Я не хотел жить вместе с ними, но эта причина была недостаточно уважительной для того, чтобы меня перевели куда-нибудь. Причем перевод надо было сперва заслужить. А заслужить я не хотел, не верил в такую возможность. Однако и воры все еще пытались иногда взбунтоваться, вернуть навсегда потерянное положение или просто устроить смуту, милую их анархическому укладу души, — и скоро после моего прибытия воры учинили какое-то безобразие. Во время расследования этого дела меня по ошибке причислили к их компании, забрали, посадили и укатили на один год в тюрьму. Отбыл я этот год сравнительно спокойно. Происшествий не было, за исключением следствия по поводу убийства Ораса и его приятелей-бандитов в болотах Каркси.

Дело было в том, что весной нашли в лесу двух застреленных мной людей Ораса. Милиция, разумеется, сразу произвела тщательное расследование в этом районе. Нашла хутор, старуха-хозяйка показала, куда зарыла Ораса и Каллиса на другой день после моей расправы, ну и, конечно, описала мою личность. Таким образом дело открылось.

Длилось это следствие около месяца, и поскольку мои жертвы были матерые ворюги и убийцы, оно кончилось безвредно для меня.

Из этой тюрьмы я опять попал в строгорежимную колонию. Продолжалось нудное, однообразное арестантское бытие. Из-за раненой ноги на лесоповал меня не гоняли. Причислили к инвалидам. Мы убивали время как хотели и умели. Я жил, как заведенный механизм, безразличный ко всему, время тянулось так медленно, а сидеть так много... Но как бы отчужденно ни относился человек к жизни, она его заденет и заставит принимать в ней участие. Она задела и меня, и, как всегда, больно.

Избили меня из-за женщины, которую я никогда в глаза не видел и ничего о ней не знаю, кроме того, что она когда-то подарила некоему Мартину, другу своему, фото, что ее зовут Эстер, что она эстонка. Моих противников было четверо, орудовали они швабрами и березовыми поленьями. Косточки мои после этого стали как резиновые, мягкие и совершенно не держали меня, так что продолжительное время я мог существовать лишь в горизонтальном положении.

Среди всех этих бездельников есть типы, занимающиеся коллекционированием фото красивых женщин, совершенно им чужих. Они их выдают за своих любовниц, показывают фото друг другу и всем желающим, причем выдумывают всякие пошленькие истории. Все это так же в моде, как заочная дружба с женщинами посредством переписки, когда у наивных

выманивают деньги или посылки, а в благодарность над ними же насмехаются.

Один из таких дон-жуанов среди прочих показал и эту карточку, на обороте ее на чистейшем эстонском языке было написано: другу Мартину от Эстер и так далее... Указывая на эту надпись, я спросил обладателя фото, где он познакомился с этой женщиной. Не подозревая, что я эстонец, он понес чепуху. Тут я порвал фото и сообщил, что думаю по этому поводу. Тогда вся эта свора напала на меня и произвела расправу.

После этого события я возненавидел окружавших меня, чувствовал себя чем-то вроде белого слона среди папуасов и мечтал только об одном: уединиться. Но куда? С утра до вечера я слонялся по зоне. Все меня раздражало, даже отказчики, эти лентяи и лодыри, которых отвращение к труду привело в заключение, где они также из-за этого постоянно страдают, — даже эти человечишки меня раздражали. Я всех ненавидел. Ну и, разумеется, мне ответили тем же. Меня стали сторониться, меня избегали, а многие попросту побаивались. В душе творилось что-то скверное, что — я не понимал сам и до сих пор не понимаю.

Избили меня здорово, и я заболел. Когда врачу колонии стало очевидно, что мое состояние становится все хуже, он отправил меня в Центральную больницу управления.

■

...Тишина. А все-таки приятно, когда тихо вокруг. Лишь изредка тихонько открывается глазок в двери, тут же закрывается, и слышны осторожные шаги по коридору. На время меня поместили в подвале, здесь, конечно, жилых камер нет, только карцеры. И я нахожусь в карцере, так сказать, на общем положении, имею постель и все прочее. Но какое это блаженство — отдохнуть от жаргона, мата, от охранников, которым не спалось, когда я был в зоне, а не в карцере... Здесь не нужно заставлять себя с кем-то говорить, здесь можно думать, спать, читать, писать и можно мыть свою камеру хоть каждый день, и воздух чистый, некому отравлять его вонючей копотью от махры.

Может, я не совсем прав по отношению к людям, но я устал от них. Это чувство можно сравнить с ощущением человека, вынужденного годами жить при ярком электрическом освещении. Вот она горит, и горит, эта лампа, и днем и ночью, есть надо при ней, спать тоже... И возненавидит человек лампу эту, свет. Хоть бы раз стало темно, мечтает он. Так и со мной. В плотном окружении людей я мечтал хотя бы немного побыть одному.

Конечно, я никогда не считался с людьми, я, собственно, и не встречал настоящих людей, а если и встречал, то это были мгновенные, мимолетные встречи. Я привык в людях, в большинстве, видеть врагов, и это мне сейчас здорово мешает, потому что такое отношение въелось в меня настолько глубоко, что даже когда я понимаю, что поступаю глупо, — не могу побороть себя, хотя после мне бывает плохо и я чувствую себя как никогда одиноким. Вот если бы люди могли не замечать этого... Но они не знают, что я способен на раскаяние, да и уж, конечно, по мне это не видно... А годы все шли, уже настал 1958-й.

Больница была большая, в ней работали вольнонаемные медицинские работники. Ну и, конечно, сестры... Повеяло чем-то давно забытым, проснулись какие-то схороненные инстинкты, чувства. Я ощущал дыхание свободы, которая была где-то рядом и в то же время далеко, недосягаема.

Страшно хотелось приобрести свободу сразу, сейчас... Но я был болен, я был никто, ничто, и свобода была недосягаема, и сестры эти, призраки свободы, искушение, соблазн... Тут я сдался.

Когда пришел в сознание и увидел вокруг себя людей в белом одеянии, много белых людей, я понял, что и это мне не удалось, что меня каким-то чудом спасли, и покрыл этих людей черным матом. Это был совсем слабый мат, потому что потерял я три литра крови и совершенно обессилел. Потом, когда все было закончено, меня привязали за руки к кровати и держали до тех пор, пока не уверились в том, что мне уже стыдно.

Целых полгода лечили, уколы разные и все прочее, я выздоровел. Медленно, очень медленно тогда возвращалась ко мне жизнь. Врачи не отходили от моей постели, и не отходил Вах-Вах. Даже не знаю, кому я больше обязан своим выздоровлением — науке ли медицинской, врачам или ему, этому усатому длинноносому осетину по прозвищу Вах-Вах. У него и имя есть — Арсен. Впрочем, прозвище это ему досталось здесь, в больнице, из-за одного немного смешного случая. Дело в том, что Вах-Вах поступил в больницу с язвой, а в один день вместе с ним поступил хохол — Иван Кандыбенко с геморроем. Они попали в одну палату, и тут их перепутал санитар. Он из-за усов их перепутал. Усы Ивана огненно рыжие, у Арсена же, как у большинства кавказцев, черные. Понадобилось врачу Александру Андреевичу — хирургу обследовать больного, поступившего с геморроем. Он приказывает медбрату вызвать из палаты больного, то есть Ивана Кандыбенко. Но медбрат куда-то очень спешил и перепоручил это дело санитару. Только он забыл фамилию и, махнув рукой, сказал: «Ну... того, с усами позови».

Пошел санитар Гаврилка и немного погодя привел Арсена. Александр Андреевич в лицо больного не знал и, думая, что перед ним Кандыбенко, уже надевая на руку перчатку, приказал ему спустить кальсоны и нагнуться в положение буквы Г. Вот тут у Арсена и вырвалось это испуганное: «Вах! Вах!», — которое заставило Гаврилку удрать из процедурной с коликами в животе. После этого имя Арсена все будто забыли, его заменило прозвище Вах-Вах.

Да, он, Вах-Вах этот, не отходил от моей постели, и врачи были вынуждены впоследствии переселить его в мою палату. Что его во мне занимало? Кто его знает... Или пожалел он меня? Он смешной какой-то, похож на угрюмую птицу с длинным клювом, только глаза смородиновые необычайно ласковые и как будто не с этого лица. Он угадывал любую мою потребность: хотелось пить — ко мне тянулась чашка с водой; хотелось принять удобное положение в кровати — его руки угадывали это; на лбу моем постоянно менялись холодные компрессы, на губах я не переставал ощущать приятный вкус прохладного кислого лимона. Это длилось долго, несколько недель. И всегда я слышал его тихий, низкий, со страшнейшим акцентом голос: «Жить нада, та-ава-арищ, ничего не бойся. Свобода будет. Жена будет. Дети будут. Ты же мужчина — терпеть нада». Да, и он тоже был прав. Плохо было — лучше будет.

О, я прожил скверную жизнь — но я буду жить лучше; я совершал ошибки — я буду их совершать еще, только теперь у меня есть конкретная цель, и я могу ошибаться лишь в мелочах на пути к этой цели и на этих же ошибках учиться. А цель простая, естественная: спастись. И это ведь возможно. Только надо окончательно добить Серого Волка, который живет просто потому, что жив, что бьется его сердце, по жилам его пульсирует кровь.

Уезжать из больницы не хотелось, я как-то привязался к своим врачам. Они, пожалуй, первые поверили, что я не такой уж безнадежный дурак.

Как-то в больницу приезжала культбригада с концертной программой, и я решил воспользоваться этим, чтобы хоть чем-то отблагодарить моих друзей. Я сговорился с музыкантами и спел свои старые песни, с которыми когда-то выступал в кабаре; конечно, на эстонском языке. Да и хорошо, что на эстонском, — песни эти, они, в общем, вроде бульварных, но я других не знал. Не беда, они поняли главное — что я пел для них.

■

В колонии, после возвращения из больницы, меня ожидал очередной срыв моих прекрасных планов. Я всегда знал, что милейшему Василию Ивановичу мое присутствие в зоне постоянно причиняло страшнейшие головные боли. Из-за меня он слопал все имеющиеся в санчасти запасы цитрамона. Несмотря на это, он все же ночами спать не мог, то и дело среди ночи проверял, не положил ли я вместо себя кого-нибудь другого. И вот на основании рытых под моим руководством подкопов и прошлых заслуг по бегу на неопределенную дистанцию на лесной трассе меня отправили в БУР — барак усиленного режима.

В БУР забирают не только людей, заподозренных в стремлении сбежать, здесь коротают дни отказчики, промотчики, проигравшие все до нитки, все представители тунеядцев. Барак этот разбит на отдельные небольшие секции, по 20—30 человек в каждой. Внутри секций длинные двухъярусные нары, окна с решетками, двери на замке. В секции постоянный галдеж, дым от махорки, вонь от параши, на верхних нарах занимаются черт знает чем, на нижних — разговоры о еде... Здесь я превратился в зверя. Вот где уж действительно меня боялись, ибо от природы я довольно силен, и если кто подворачивался не вовремя под кулак — тому было не сдобровать. Меня обходили за метр. Долго терпеть это было невозможно. Я понимал, что администрация колонии, тот же Василий Иванович, не могла знать, что, собственно, происходит в моей душе, собираюсь я исправляться или нет, буду ли бежать, если меня выпустить, или нет; а находиться в БУРе мне предстояло, как я понял, до исправления — долго, что и говорить. Кто же мог знать, когда именно я исправлюсь? Я решил бежать из БУРа, чего бы это ни стоило, пусть даже жизни.

Но куда? Бежать без оглядки, все равно куда? Опять скитаться без жилья, без пристанища? Опять наблюдать жизнь со стороны, не принимая участия в ней? Нет, это не лучше. Или... Лесная хижина, охота, жизнь отшельника? Конечно, это лучше, чем БУР. Но это маловероятно, к тому же я болен. Но куда же тогда бежать? А если добраться до города Красновишера, ближе к уральскому хребту (чтобы не попадаться погоне), и там сдаться? Что даст мне подобный маневр? Ого, добавят срок и спрячут в тюрьму. Это точно. Ну что ж, там, в одиночке, я отдохну. Я решился. Но осуществить план этот до конца не смог. Он удался только наполовину.

Перед тем как уйти в побег — а бежал из карцера, — я вынес и спрятал в зоне оцепления, в которой работали, дорогие мне фотографии и настоящие записки. В столярной мастерской раздобыл стамеску, затем совершил умышленное нарушение существующего режима и получил за это десять суток карцера. Стамеску, несмотря на тщательный обыск, удалось пронести. Одно было плохо — забрали теплую одежду и обувь. Почему мне вздумалось бежать именно из карцера? Потому что всегда меньше

всего внимания обращают на этот объект, который считается самым надежным, непроходимым, куда нормальный человек не сунется. И еще потому, что в карцере заключенные содержатся по одному и, следовательно, можно было не опасаться предательства.

Три дня долбил стену, изорвал в кровь руки, все трое суток не спал, потому что днем работал, а ночью, когда работать нельзя было из-за тишины, караулил, чтобы дежурный не заметил мои достижения. Все это время меня мучил жесточайший понос. Когда же отверстие было готово, я обнаружил, что снаружи его перекрывает толстый железный прут. Выломать его было невозможно. Образовались два отверстия, и оба были малы. Через одно я мог высунуть лишь голову и руки, а через другое и этого нельзя было. Стоило надзирателю заглянуть в глазок, и он увидел бы сквозь стену звезды... Что же ждало тогда меня?

Попробовал вылезать и ногами, и головой вперед — бесполезно. Я был в отчаянии. Наконец разделся догола, повесил на стамеску у отверстий свое тряпье, затем с невероятным усилием просунул сразу голову и плечи и повис — наполовину в камере, наполовину снаружи. Содрав с себя солидные куски шкуры, я вылез. Это был трюк истинно змеиный: как-никак мой рост 175 сантиметров и корпус соответствующий. Позже узнал, что солдаты, намного меньше меня, пролезть через эту дыру не могли.

Выбравшись из карцера, я полез в предзонник и взобрался на забор. Предзонник освещался электричеством, по ту сторону забора бегали собаки, а на сторожевой вышке часовой мурлыкал какую-то песню. Я перелез через забор. Ночью рабочая зона не охраняется и можно было беспрепятственно раздобыть то, что там спрятано. Несмотря на то, что был босой, за первую ночь прошел около 50 километров. На второй день поймал курицу, но съесть ее не смог. Совсем потерял аппетит, ощущение вкуса. На вторую ночь прошел почти столько же, сколько за первую, но ужасно поднялась температура — это началось еще в карцере. На третий день, не дойдя четырех километров до города Красновишера, я свалился без памяти. Очнувшись, набрался сил, вышел на дорогу и сдался на милость судьбы. Она явилась мне в лице водителя грузовой машины.

— Куда тебя? — спросила судьба, подозрительно меня рассматривая с ног до головы. Я стоял перед ней жалкий, босой, грязный, оборванный и заросший. И так устал, что едва держался на ногах.

— Куда угодно, — ответил я противным самому себе слабым, писклявым голосом, — хочешь, вези в больницу, а хочешь — в милицию.

— Садись, — сказала судьба коротко, нахмурив лоб. Я полез в кабину, и мы поехали.

Он привез меня в милицию. В дежурке, окруженный любопытными работниками милиции и дружинниками, я сел на пол и заплакал — от усталости, от жалости к самому себе, от чего-то, еще неясного. Это было с 6 до 8 сентября 1960 года.

На суде я даже не пытался говорить о причинах, заставивших меня бежать. Судье, видимо, было меня жаль. Он все пытался дать мне возможность оправдываться, задавая наводящие вопросы, и ему, наверное, очень хотелось, чтобы я отвечал на них так, как он надеялся, как бы должен ответить любой, кто хочет оправдаться. Но я не хотел оправдываться. Я знал, что если меня признают виновным и если я заслужу приговор посуровее — я получу тюрьму. А этого я только и хотел. Поэтому на конкретный вопрос: буду ли бежать еще, на который любой здравомыслящий

ответил бы, что, разумеется, нет, — я ответил утвердительно, хотя на самом деле не буду. Услышав приговор, сразу решил уединиться в одиночку, хотя и нет такого положения. Это был мой последний побег. На большее просто не хватит энергии. Я вконец измотался, до того, что хоть убей, мне все равно.

■

ТЕТРАДЬ ДВЕНАДЦАТАЯ
ГОД 1961

Как я и думал, нелегко приобрести покой в тюрьме. Вот отсидел для начала пять суток в карцере за то, что не желаю войти в общую массу заключенных. Ну что ж — к этому мне не привыкать.

Все-таки я настоял на своем.

■

После многих попыток приобщить меня к общей массе тюремного населения, после бесконечных «почему» опять отсидел пять суток в карцере, наверное, не последние. Но я все же живу один и чудесно себя чувствую. Не надо слушать бестолковую, пустую болтовню с утра до вечера, не надо быть свидетелем бесконечных склок, мелких пошлых интрижек, драк из-за картежной игры, да и многого другого: нет шума, грязи и вони... Хорошо! Ничего больше пока не желаю.

Получил сегодня письмо от мамы. Какое событие! Неужели это может быть, что они где-то еще существуют? За девятнадцать лет — первое письмо, первые вести. Брат служит на корабле дальнего плавания, сестра дома с мамой. Она уже большая — ей девятнадцатый год. Ведь, черт возьми, ей было всего восемь месяцев, когда я ее видел... А братишка — ему было семь лет. Мама... Пишет, что здорова, но какая она — не могу себе представить. Бывают все же на свете чудеса...

Интересно, увижу ли их еще когда-нибудь?

Сегодня мой день рождения, и даже имеется возможность отпраздновать это несчастье. Конечно, без шика, но есть сахар, даже белый хлеб — что еще надо? Вот наемся в честь того, что мне сегодня исполнилось тридцать лет. Сижу в одиночке, и начальство относится пока к этому терпеливо, они вроде уже начинают меня понимать. Надзиратели посматривают на меня сочувственно. Это, наверное, оттого, что я с ними предельно вежлив, ничего не прошу, не требую, всем доволен. Они словно отдают дань моему терпению. Живу прилично, насколько это возможно в тюрьме. Меня даже выпустили работать, специальность моя — уборщица. Бегаю по тюрьме с метлой, гоняюсь за окурками, мою полы, вытаскиваю грязь.

Недавно из моего срока выбросили пять лет, остается четыре года и четыре месяца. Колоссально! Это совсем немного — пятьдесят два месяца, или одна тысяча пятьсот восемьдесят пять дней. А мне всего лишь тридцать лет... И это тоже немного, ведь я проживу еще сто лет... Конечно, я устал немного, но тем не менее я молод и буду еще долго молодым. Собственно, я всегда буду молодым. И кто скажет мне, где граничит молодость со старостью? Есть люди в пятьдесят молодые, есть люди в двадцать старики. А какие люди стареют? Стареют те, кто не хочет расставаться со старыми понятиями, старыми вещами, старыми привычками, хотя они уже не

ко времени; это все старит человека. Если человек может оторвать от себя старое, перешагнуть из прошедших времен в настоящее — он будет долго молодым, и надо жить, извлекая максимальную пользу из того, что имеешь сегодня, и наслаждаться жизнью в пределах доступного.

Что у меня было, когда я прибыл в эту тюрьму? Котомка с тряпками и больше ничего. Сегодня я обладаю многим. Конечно, фактически у меня нет ничего — лишь четыре холодные стены вокруг, цементный пол под ногами и маленькое окошко с толстыми решетками. Но сегодня я научился жить чисто и испытывать от этого удовлетворение. Умею читать и понимать то, что читаю; могу писать и понимать, что пишу, — и испытывать от этого удовлетворение. Этого мало, чтобы быть счастливым, но достаточно, чтобы жить и даже получать от этого удовольствие. Но тюрьма — это тюрьма, и нет ничего на свете хуже ее.

■

Хлопают железные двери, гремят замки, слышится беспрерывный топот ног, многих ног. Идет утренняя оправка. Это значит, заключенных водят в уборную. После оправки завтрак, а затем заключенных, допущенных работать, выведут в мастерские. Здесь они работают в столярных мастерских, делают мебель.

Что-то случилось... Топот прекратился, замки не гремят, двери не хлопают. Что случилось? Кончилась оправка? Беру метлу, выхожу в коридор. Нет, оправка не кончилась, что-то случилось.

В уборной на тридцать мест полно воды и всякой гадости и воняет, как в уборной. Забилась труба, что-то там застряло, и достать это никак не могут. Но что бы это могло быть? Возможно, какая-то тряпка, возможно, какая-то старая портянка, но оправку из-за этого делать нельзя, а если не будет оправки, люди не пойдут на работу. Один за другим заключенные из бригады хозобслуживания тюрьмы ковыряются в канализационной трубе железками, проволокой, суют крючки всякие — бесполезно. Там, в колене, что-то есть и достать это невозможно. Вот разве рукой... Но кто же полезет в эту гадость рукой? Заключенные? Не хотят. И приказать им, чтобы они совали туда руку, никто не может. А оправку не делают. И производство будет стоять, пропадет рабочий день, не будут работать триста человек. Из-за какого-то ничтожного предмета в канализационной трубе, вернее из-за того, что никто не хочет совать в эту трубу руку, а кроме руки ничто не освободит трубу. Интересно, сколько стоит вся эта продукция, плод труда трехсот человек, которой государство лишается из-за этой мелочи? Вот если бы предложить эту сумму тому, кто удалит препятствие в трубе. Что бы было? Наверно, полезли бы многие — и вольные, и зеки. А сейчас — нет. Все вроде в перчатках... Но ведь, братцы, в перчатках жить нельзя. Снимите их!

...Это была изогнутая алюминиевая миска. Я ее достал легко, за одну секунду. Просто вынул, и все. Конечно, рукой...

■

Проработал три месяца, больше не выпускают. Администрация будто бы получила указание беглецов не выводить. Опять полная изоляция от внешнего мира, говорю в день в среднем шесть слов — ответы на традиционные вопросы надзирателей: да, нет, да, нет.

Тишина. Лишь где-то скребется мышь, еще мухи назойливые летают вокруг моего носа, стремясь сделать на нем посадку. Мне скучно, мне не-

куда девать себя, а это так страшно, когда человеку некуда себя девать. О, это так страшно!..

Перелистывая дневник, я обратил внимание, что стал он стареньким, уже совсем истрепался, того и гляди рассыплется. Решил его заново переписать, уже по-русски. От этого для меня тройная польза: я научусь писать по-русски; дни, бесконечные в тюрьме, заполнятся делом и пойдут быстрее; и дневник будет переписан заново. Конечно, это будет не легко, и сделаю я это, возможно, плохо, но во всяком случае перестанет докучать тюремная цензура. Потом, раз я говорю и читаю по-русски, значит, обязан научиться и писать. К тому же, вероятно, из-за прочитанной в течение многих лет литературы, а также из-за общения с окружающими людьми исключительно на русском языке я совершенно свыкся с ним и все больше и больше отвыкаю от своего родного. Но прежде, чем приступить к переводу этих записей, я должен решить, как переводить их: буквально, или усовершенствовать их настолько, насколько меня самого усовершенствовала жизнь.

Когда двадцать лет назад я записывал свою первую заметку, я полагал, что записи эти будут отражать прожитые мною увлекательные приключения, смелые подвиги во имя славы и богатства, в которых тогда заключалось мое понимание счастья, и вовсе не полагал, что мне придется описывать жизнь и приключения, приведшие меня вот сюда, в эту камеру. Приключения... Они, конечно были. Но были они совсем не такие, какими я восхищался в приключенческих романах. Они были не из приятных, хотя я ими порою тоже восхищался. Что же касается подвигов — их, разумеется, не было. Но жизнь была, и я ее записывал такой, какая она была, невзирая на то, хорошим я выглядел в ней или плохим. Моим запискам пришлось много пережить. Они побывали во многих чужих руках, не раз мокли в воде, обтрепались, десятки раз заново переписывались.

В них заключена вся моя жизнь. Сам того не замечая, я создал ими самого себя: читая и перечитывая эти записи, я каждый раз по-новому видел жизнь и себя в ней.

Я не стану их усовершенствовать, я это делал каждый раз, когда по каким-нибудь обстоятельствам был вынужден их переписывать. Потом, я ведь отдаю себе отчет о своей прошедшей жизни, полной заблуждений, преступлений, страданий, и сегодня, ясно представляя бессмысленность этой жизни, я скажу: как бы мне ни пришлось тяжело в будущей жизни — в эту прежнюю жизнь не вернусь никогда. Я опустился до самого дна и теперь или поднимусь отсюда, войду в человеческое общество, или останусь здесь и сгнию, как никому не нужное дерьмо, негодное даже на удобрение земли. Но я не хочу остаться здесь и, значит, поднимусь. Тяжелый будет подъем, медленный, но я преодолею все препятствия.

А теперь перепишу свои дневники, быть может, в последний раз. Делать это нелегко: нет ни учебников, ни советчиков, придется полагаться на свой инстинкт и память. Но хорошо ли, плохо, а напишу. И отступись от меня, мрак тюремный, отступись, скука, тоска, пошлые будни.

■

ГОД 1962

Приручил мышонка. Великолепная тварь! Жила у меня в старом ботинке, ела с руки. Только большая шкодница, ей почему-то нравилась моя борода: ночью копошится в ней, а потом уснет.

На днях это маленькое существо опрокинуло здоровенного солдата — смехотища! Дело в том, что щель, через которую эта мышь ко мне попала, я заткнул. Моя мышь сперва забилась за батарею центрального отопления, но потом, привыкнув и, наконец, полюбив свое положение, переселилась в ботинок. А гуляла она по камере свободно, где и как ей хотелось. И вот вздумалось ей совершить прогулку до двери моей камеры именно в тот момент, когда с другой стороны к этой двери подошел надзиратель, чтобы посмотреть через глазок, чем тут занимается моя недостойная личность, но... ничего не видно, в глазке что-то копошится, серое. Он мне кричит:

— Отойди от двери! Перестань закрывать глазок! — А мне смешно, потому что я лежу на постели, а в глазке сидит мышь. Я молчу. Надзиратель открывает кормушку, чтобы дать мне нагоняй, но прямо у его носа выныривает мышь. Он от неожиданности так испугался, что сделал поспешно шаг назад, и, оступившись, упал. А мышонок — в коридоре и побежал прочь.

У меня даже дух перехватило: удрал мышонок! Попросил надзирателя помочь горю. Он, длинный, нескладный, долго преследовал мою мышь, пока беглянка не сообразила, что самое безопасное место — моя камера и не вернулась через ту же кормушку. А мой охранник, вытирая шапкой вспотевшее лицо, удивленно наблюдал, как эта шкода забирается в мою бороду — на отдых.

Сегодня ночью она мне немного досадила. Послали добрые люди в честь моего 31-го по счету дня рождения полный мешок всяких вкусных вещей. Я поел, разумеется, накормил и мышь. А в благодарность за это она ночью расковыряла свою щель и привела откуда-то целое сборище своих соплеменников, и всю ночь они штурмовали мой мешок самым бессовестным образом. А утром она убежала совсем.

■

Со мной произошла сказочная история. О подобных я читал лишь у К. Дойля. Совсем недавно, получив свою арестантскую порцию хлеба, я не замедлил вонзить в нее зубы, ибо был голодный, потому что арестант редко бывает сыт. И под зуб мне попалось что-то твердое. Я вытащил изо рта колечко... Колечко было золотое и маленькое, с темным сверкающим камешком. На внутренней стороне была выгравирована надпись: «Люсе от мамы. 1950». Что мне было с ним делать? Продать было некому, держать у себя— ни к чему. Вернуть обладательнице? А как ее найти? Я стал мыслить, как это называется, дедуктивно. Трубки у меня нет, да я и не курю, потому не сидел, как Шерлок Холмс, погрузившись в облако дыма и в события, а бегал по камере из угла в угол и сделал следующие выводы: 1) она — женщина; 2) зовут — Люся, она же Людмила; 3) работает лаборанткой на хлебозаводе; 4) она очень маленькая; 5) у нее была крупная неприятность или она очень рассеянная. Затем вызвал начальство, сообщил плоды своих размышлений и отдал колечко. Через два дня получил новую корзину кондитерских изделий (в которых понимаю толк) и убедился, что умею дедуктивно мыслить: она женщина, зовут ее Люся — она же Людмила, она очень небольшая, работает на хлебозаводе бригадиром, у нее в тот день, когда она потеряла колечко, была крупная неприятность: забраковали тесто. Я остался собой доволен.

■

Жизнь становится невыносимой. И куда бы мне подеваться от всех этих шумов? Даже в тюрьме нет покоя человеку... Этакое безобразие! Вот бьют с утра до вечера по дверям: тому недодали хлеба, тот не получил махорки; один орет, бесится, изображая психопата, другой целыми днями подсчитывает, сколько он съедает фактически. А тут еще поезда... От них грохот. Да еще вздумалось им гудеть около тюрьмы... Все гудят, как по уговору. Ох, шум, шум. А это еще что за шум? Самолет. Но зачем им надо летать именно над тюрьмой? Что им, в воздухе места мало?!

От изнурительной, тревожной жизни развивается у человека повышенная нервозность, и от этого может избавить разве лишь глубокое одиночество. Но какое же это, к черту, одиночество? Вот в соседней камере живет человек. Слышу его уже больше года и прозвал Ворчуном. Ему вечно нехорошо и всем он недоволен: и сестры его отравляют, и врачи на него не обращают внимания, а он больной-пребольной; начальство его преследует и морит голодом (бедняга! он жирный, как боров), прогулку ему дают меньше, чем всем; газеты ему дают не те, что всем и т. д., и т. п. И вот стучит с утра до вечера, орет, требует сегодня то, завтра другое.

Тоже считает себя вором, но, по-моему, он еще и негодяй!

■

Все влюбленные и поэты восхищаются соловьем. Но я от души благодарю воробья, который проживает над моим окошком и поет мне вот уже полтора года. Его зовут Филипп, по фамилии — Чирик. И поет он — ей-богу! — не хуже соловья. И что самое главное, это мой собственный воробей. Я его вырастил, выкормил, так сказать, человеком сделал. Подобрал его совсем маленьким в прогулочном дворе, он был тогда некрасивый, голый, без перьев, видимо, выпал из гнезда. А гнезд у этих воробьишек на каждом шагу, народ этот к вопросу о жилплощади относится не очень требовательно, любая щель для них хороша. Забрал я этого несчастного, стал кормить, и возни с ним было немало. Мы часами с ним вдвоем беседовали, причем каждый думал о чем-то своем, ведь, должно быть, и они, воробьи, о чем-то думают. Садится он на мой большой палец и говорит — чирик, и я ему говорю то же самое, стараясь быть поточнее в произношении. Выходил я с ним и на улицу, в прогулочный двор. Он тогда уже летать научился. Сперва я подумал — улетит. И точно — улетел. Но как только закончилось мое время прогулки и меня выводили из прогулочного двора — Филипп тут же появился, я его забрал, и мы вместе пошли в камеру. Однажды он не явился, так надзиратели посочувствовали, не вывели меня со двора, ждали Филиппа и вместе переживали: прилетит или нет? Прилетел. Долго он у меня жил, но тосковать что-то стал, и решил я ему дать свободу. Посадил на открытую форточку и говорю: «Лети, любезный, устраивайся, как знаешь». А он — нет. До сих пор я все боялся держать открытой форточку, чтобы не улетел Филипп, теперь выгоняю его, а он не уходит. Несколько дней он все привыкал к форточке, потом как-то улетел, но в тот же день вернулся. Потом он, видать, влюбился, бедняга — вдвоем появились. Филипп — он был теперь красавец, самостоятельный и вполне представительный воробей — в окно, а она — нет. Он туда-сюда, зовет, а она ни в какую. Кончилось тем, что отыскал Филипп над моим окошком какую-то щель и в ней устроили они себе гнездо. С тех пор у меня за окном, на полном, так сказать, государственном обеспечении, живет мой собственный воробей по имени Филипп.

■

Их трое. Приговорены к смертной казни.

— Спой нам что-нибудь, — просили они меня, — больше ничего никогда не услышим. — Их камера над моей, если петь у окна — им слышно. Когда находит настроение, пою. Вот они и услышали. За что их? Спросил у надзирателя. Один — убил человека в парке, отнял часы, больше у того ничего не оказалось. И вот — вышка. Другие тоже убийцы. Скоро о них напечатают в газете: «Приговор приведен в исполнение». А сегодня они еще живы и просят, чтобы я им что-нибудь спел.

Смерть — это уход из жизни навсегда. И природа ее назначила человеку, как избавление от беспомощной старости. Ты человеком родился, а умереть человеку надлежит или на своей постели, или на своем посту, или в подвиге. Умирать потому, что ты перестал быть человеком и не имеешь права на жизнь, — это гадко. Люди живут на свете обществом, и если кто-то становится угрозой этому обществу — люди сами избавляются от него. Я слышал, будто в древности у каких-то восточных народов был обычай: заболел человек — его изгоняют на место захоронения ждать смерти. Он должен был умирать в одиночестве, хотя не совершал никакого преступления, — просто люди были тогда темные, боялись заразной болезни. Теперь больных лечат, даже самых трудных, самых заразных. И все же люди вынуждены изгонять из своей среды многих — то на время, а то и навсегда. Кого изгонят на время — их вроде лечат, они имеют возможность вернуться в общество; кого изгонят навсегда — это безнадежные, это существа, которых человечество отрицает полностью, потому что они совершенно потеряли человечность. А у этих троих где-то есть горем убитые матери, возможно, жены, дети...

Что думают они, ждущие своего последнего часа? Вспоминают прожитую жизнь? Воображают себе предстоящее? Боятся они смерти, страшно ли им? Да, моя песня — последнее их удовольствие. Они очень уговаривали, наверное, боялись, что я не захочу петь для них. И я пел им, целый вечер пел, слушали они, слушали надзиратели, которые, видимо, все понимали...

■

Боже мой, они меня доконают, куда мне от них деваться? Мысли — в прогулочном дворе, в камере, в уборной, везде они со мной. Кто ты? — мучают они меня. Некто, кому кажется, что вокруг темно, потому что, потерявший гражданские права (они ему казались ненужными), потерявший человеческое достоинство (он с ним не считался), избегавший истины, которой он бессознательно боялся, он — беглец. Да, ты беглец. Бежишь из дому, от самой чистой, нежной, материнской любви, бежишь от человеческого общества, затем от правосудия, потом от наказания. И теперь ты снова сбежал — от людей, окружающих тебя сейчас. Ты бежишь от всего сознательно, поэтому так темно вокруг. Тебе страшно, и пора быть мужественным, сознаться себе в этом. Ты жаждешь света, тебе давно надоела темнота.

Все правда. Мне надоела жизнь вслепую. И я покончу с этим, я уже не могу не покончить. Вокруг пусто, но, оказывается, абсолютной пустоты все же нет. Только чтобы в этом убедиться, нужно было создать для себя вакуум, а теперь — нетерпение: когда же я выйду отсюда! Мне уже не нужны эти стены, я жажду проверить себя на деле, хочу убедиться, что я действительно способен стать сильным. Придет час, когда я смогу заговорить в полный голос и рассказать людям о том, что нет отчаяния, нет безвыход-

ности, нет и темноты, что, если ты человек — тысячи возможностей содержатся в самом тебе. Открой их и пользуйся ими.

Прочь отсюда! Долой одиночество! Я ухожу отсюда — в жизнь. Конечно, начинать придется с самой низкой ее ступеньки. Не бойся, дай по морде Серому Волку и — вперед. Дай ему по зубам, пора ему понять, что его песенка спета.

■

Мне не терпелось начать с чего-то тут же, в тюрьме. Но с чего?.. Для начала попросил администрацию тюрьмы переселить меня в общую камеру, и не просто в общую, а в самую недисциплинированную, самую грязную, но в такую, где меня как Серого Волка не знают. И вот я оставил вакуум и нахожусь в камере, где живут тридцать два гаврика. Я здесь тридцать третий.

Люди эти — дикая братия, прошедшая ползком на брюхе все возможные топи. Постоянная тема разговора — любовь (развратная, разумеется); они словно больны любовной лихорадкой, бесконечные рассказы в сопровождении сальной жестикуляции и мимики. Любые измышления рассказчиков слушаются с какой-то плотоядной настороженностью, хотя никто не сомневается в том, что все это чистое вранье: нередко можно услышать циничный смех в ответ на какое-нибудь более остроумное сочинение, и это постоянно, изо дня в день, до тошноты. Этих людей шаг за шагом оттеснили от общества — сперва просто в колонию, потом в строгорежимную, затем — в особорежимную, затем, по той же лестнице, по которой прошел я, — за крепкую тюремную решетку. Но они и здесь обросли грязью, они и здесь стараются не выполнять никаких требований, даже если это в их интересах. В камере невыносимый смрад от давно не мытого пола, от махорки, от параши.

Меня здесь не знают, конечно, слышали обо мне, и мою кличку слышали, но никто из них не знает меня в лицо. Я пришел к ним не как Серый Волк, о «подвигах» которого они наслышаны, с чьими причудами они, пожалуй, смирились бы из-за его авторитета. Я пришел сюда не для того, чтобы пользоваться этим «авторитетом», я сказал им лишь имя, а оно для них — пустой звук. Итак, я для них просто человек, совершивший преступление. С причудами такого человека эти люди считаться не станут. А я захотел заставить их хоть немного почувствовать себя людьми, я должен их заставить, должен быть теперь сильнее их, раз сумел быть сильнее самого себя.

Начал с того, что предложил помыть пол. Надеяться, что это предложение будет встречено с восторгом или хотя бы с малейшим одобрением, было бы наивно. На меня посмотрели как на психического и только. Тогда я просто взял и вымыл пол. Это был труд, камера большущая — 92 квадратных метра. На это занятие ушло часа три. Я работал, как муравей, таскал бачками воду, выливал на пол и скреб его деревянной шваброй. Я вымыл пол, чем вызвал общее презрение обитателей камеры, и не успел закончить свою работу, как на пол полетели окурки и жирные плевки. Все делали вид, словно меня и не было, и пол был такой же, как прежде. Я ничего не сказал. Это было бы бесполезно. На второй день я начал всю процедуру снова, чем вызвал уже не презрение, а гнев камеры. Но вымыл пол снова и опять не позволил себе разозлиться, когда его тут же загадили. Я вымыл бачки питьевые и даже парашу. Конечно, энтузиазм мой не был подхвачен. Хуже того — стали считать, что раз мне приятно поддерживать чистоту —

на здоровье. Мне с удовольствием уступили возможность вытаскивать парашу, подметать пол, приносить воду, в общем — делать все то, что до этого хоть кто-нибудь должен был делать по необходимости. А теперь просто не надо было беспокоиться. Нет, это меня не устраивало. Эти люди меня явно не поняли.

Однажды я только что помыл пол, как кто-то, как обычно, с наслаждением подтвердил это смачным плевком, который шлепнулся на пол тут же, около моей еще согнутой фигуры. Плевок чуть не угодил по моему вспотевшему носу. Это было пределом, я взбесился. Схватив бачок с питьевой водой, я швырнул его с силой об пол, опрокинул парашу со всем содержимым, перевернул стол, вылил на пол грязную воду из ведра и кричал, как сумасшедший: «Что?! Не хотите, чтобы было чисто?! Так вот вам! Вот! Вот!» И все вокруг крушил. Кто-то пытался меня остановить, но я схватил скамейку и так ему съездил по ребрам, что он, ойкнув, отлетел. Вся эта дикая братия смотрела на меня остолбенев, никто не издал ни звука. Открылась кормушка, но надзиратели не мешали, видимо, понимали, в чем дело. Наконец, я выдохся и повалился на свою кровать. В камере ни звука. Потом кто-то произнес: «Ну и ну...». Кто-то коротко гоготнул. Затем чей-то повелительный голос начал командовать: «А ну, гаврики, за дело, уберем. Федя, хватай тряпку! Рыба — за водой, ты чего рот разинул, тебе говорю! Бери парашу, ставь на место, бачок тоже. Давай, давай!».

Я, не поворачивая головы, лежал. Послышался шум отодвигаемых кроватей, скамеек, началась всеобщая уборка. Значит — порядок. Моя взяла! Стало быть, хорошее способно пробиться даже через эти грубые шкуры, только надо быть настойчивым. Стало быть, мое решение правильное, и я на верном пути. Я встал и вместе со всеми принялся еще раз за уборку. Когда закончили — подошел к своей кровати и медленно начал собирать вещи. Все недоуменно посмотрели друг на друга, на меня, и кто-то спросил: «Куда ж ты собрался? Убрали же...» Я сказал тихо: «Наверное, мне лучше в другую камеру...» Я никуда, собственно, не хотел идти, надеялся, что меня, может, не отпустят. И точно. Кто-то сказал: «Брось ты!» Кто-то другой: «Оставайся, что ты...» Это было сказано довольно виновато. И, скрывая непривычную неловкость, кто-то пробасил: «Ладно уж, чистота — залог здоровья, что мы... не понимаем». Я остался.

■

Был суд. За хорошее поведение в быту и в труде суд освободил меня досрочно от дальнейшего тюремного заключения. Последние два дня в тюрьме открыли мне неожиданно одно интересное явление: со мной приходили прощаться надзиратели, поздравляли, приглашали после освобождения в Балашов, обещали помочь устроиться. Теперь еду в колонию, наверное, туда, откуда приехал. Появились у меня друзья и враги — как всегда, когда не плывешь по течению, а живешь активно. Друзья не скрывают своего ко мне уважения, враги притаились, дожидаются удобного момента, чтобы открыться. Друзья из молодых, в большинстве люди, попавшие сюда впервые. Особенно подружился с одним совсем молодым парнем из Шахуньи. Симпатичный, с мечтательными глазами парнишка. Следует из колонии малолеток в колонию взрослых. Очень смышленый, десять классов образования. Он скоро освободится и, надо думать, никогда не попадет сюда снова. Вокруг него, когда я вошел в камеру, так и увивались аллигаторы уголовного мира, люди, почти никогда не жившие на воле, не имеющие никаких человеческих чувств. Я здорово помешал им.

Он показывал письма своих друзей, рассказывал о родителях. Все это не нравилось аллигаторам, и знаю, что приобрел много врагов. Только плевать мне на эту сволочь. Постников верит мне во всем, и я постараюсь показать ему то, что так трудно заметить в его возрасте. Ведь когда я был в его годах, разве не были для меня самыми авторитетными людьми приблизительно такие, как Серый Волк теперь?

■

В безвоздушном пространстве.

■

Я не знаю тебя, я не знаком с тобой, но, может быть, ты где-то есть — бескорыстный, искренний друг. Хочется поговорить с кем-нибудь, но хотя вокруг много людей — не с кем. Валяюсь вот уже четырнадцать суток в пересыльной тюрьме (пятой по счету). В камере 54 человека: дым, гомон, шум. Все говорят о чем-то, рассказывают друг другу что-то, смеются, ругаются, и им вроде весело. Но мне не хочется ничего никому рассказывать, и слушать — тоже. Только не слушать невозможно... До чего же нелепо! Все норовят излить мне горе свое...

«Будь мужественным в беде своей...»

Как их мало, мужественных в беде своей. С кем ни заговоришь, кто с тобой ни заговорит — все плачутся: как им тяжело, как они несчастны. И, конечно, хотят, чтобы их ободрили. Какого черта они думали, когда делали то, за что их сюда загнали? А ведь все они тут не впервые, все вроде бывалые. Говоришь, ободряешь, но хочется послать к черту. И никто же не подумает, что и мне здесь не дом родной.

Вот вчера подрался... Они ко мне как к «иностранцу» (как же — был за границей!) обращались с нелепыми вопросами о жизни за границей, причем, горько вздыхая, изъявляли жгучее желание попасть туда. Там, по мнению этих воздыхателей, текут молочные реки с кисельными берегами. Они недовольны решительно всем на своей родине. «За границей все лучше, дешевле, там лучше платят за труд, да и труд там не такой, как здесь, там законы справедливы и правительство лучше, и вещи там лучше, и даже женщины...».

Ведь их ничто же не оправдает — мелких, пошлых, пустых. Они безуспешно пытаются винить свою родину в своих неудачах, восхваляя заграницу, готовые продать родину за хлеб с маслом! И разве это родину они так ненавидят? Нет. Это они труд ненавидят. В Америке они тоже будут недовольны, и в Англии, и в Италии тоже — везде, где придется жить, подчиняясь законам, и трудиться.

Один доказывал, что мы, в общем, скот и что общество, упрятав нас сюда, хотело заставить нас понять, что мы действительно скот. Этот, видно, самокритичен. Он говорил, что нас все же воспитывают и жизнь наша намного лучше, чем могла бы быть.

Я думаю, что он лишь в какой-то мере прав. Действительно, многие из нас — животные. Но при этом мы все же люди. Что же касается воспитания — нас воспитывают, каждого, ровно настолько, насколько он в состоянии воспринять это воспитание. Но колония, по-моему, это фильтр. Сильные морально и физически или ловкие до подлости, те, кто имеет силы или уме-

ние победить все трудности и выйти на волю, — их общество хоть и не встречает с музыкой, но принимает.

Но пока мы здесь барахтаемся в болотах, в лесах, съедаемые комарами, соображая, кто мы и где мы, пока мы здесь отбываем в небытии год за годом — там, на воле, строится иная, человеческая жизнь... А мы от этой жизни настолько уже отстали, что вряд ли будем там ко двору.

Хороший друг, если ты где-то есть, поверь — мне тоже нелегко. Многое непонятно, а хочется узнать, проверить, понять. Я не вижу сейчас, но не потому, что слепой, а потому, что завязаны глаза. Но я хочу видеть. Я должен видеть, понять.

■

ТЕТРАДЬ ТРИНАДЦАТАЯ
ГОД 1963

— Бойся-а-а-а!

— Бойся-а-а-а!

Треск, грохот падающего дерева. И опять кричат, что надо бояться, и опять грохот, и так целый день. Только меня это не касается.

— Юзи! — вот это уже меня касается. Нажимаю на багор и резко подталкиваю бревно вверх по накатам, еще усилие, еще рывок, и оно уже на прицепе.

— Юзи! — кричу я, и теперь уже мой напарник юзанет — у него комель, и опять рывок, и опять бревно на прицепе.

Все. Машина нагружена, 19 кубов. Заревел мотор, машина отъехала, подъехала другая и опять: «Юзи! Бахом, бахом, юзи!..» Раз-два, раз-два, юзом, рывок — на месте. С носа капает вода, по спине она льется, на лбу блестит она, соленая, святая вода. Одна за другой меняются машины, и мы все юзим, и юзим, без перекура, до обеденного перерыва. Затем идем к костру, развязываем наши котомки, достаем харчи, поедим, немного отдохнем и опять начинаем. Вечером багры на плечи — и домой, в зону.

Конвой у нас мировой, они с нами уже несколько месяцев, привыкли к нам, делятся папиросами, когда у нас нет, новостями, рассказывают о жизни в поселке, интересуются нашей. Никогда не слышим от них окрика, плохого слова. Ну и мы, конечно, тоже понимаем, что к чему, и стараемся, чтобы не было никакого баловства. Если люди относятся к нам по-человечески, мы отвечаем им тем же. Это ведь очень важно — чувствовать от тех, кто тебя охраняет, человеческое отношение. И работается тогда веселее, с азартом, подсознательно стараешься показать свою ловкость, силу, и бревна словно бы легче катятся на машины.

Хрустит снег под ногами, сверкает в солнечных лучах. Шагаем в зону уставшие от работы, но бодрые. Перебрасываемся шутками, а в зоне нас ждет борщ... Наша бригада не ходит в столовую, мы приносим арестантские каши и супы в секцию в ведрах, здесь выливаем в две большие эмалированные миски и, вооружившись ложками, едим все вместе. Если удастся раздобыть картошку, варим ее или жарим. Все, что только удается раздобыть, и посылки тоже — все пускаем в общий котел. У нас в этом отношении полная коммуна.

Когда я первый раз вышел в лес на погрузку, мне пришлось солоно. Ведь я уже так давно физически не работал, а тут тебе не шутки шутить, погрузка леса — самая тяжелая работа. А меня к тому же мучают боли.

Но я решил убить их, к чертям, убить работой, чтобы болеть было некогда. Потом, раз я решил покончить с тунеядством, так уж по-настоящему, без дураков.

На погрузку, как правило, берут лишь малосрочников, потому что бригада эта ходит под отдельным, малочисленным конвоем и на разные объекты.

Когда я пришел к Василию Ивановичу и сказал, что хочу идти на погрузку, он, прямо скажем, не был в восторге. Вообще мое досрочное возвращение из тюрьмы не очень его обрадовало. Было видно, что в последние два года он обходится без цитрамона. А теперь я еще задумал идти в лес... Но когда он выяснил, что мне действительно сократили срок, на погрузку записаться разрешил. Только сказал:

— Не выдержишь...

— Попробую, — ответил я, и этим вопрос был исчерпан.

Первое время было тяжело. Но спасибо ребятам, не дали сбежать. Они меня все подбадривали: ничего страшного, всем в первое время трудно, привыкнешь. Нашлись, конечно, и такие, которые начали панику нагонять: мол, здесь недолго и сгорбатиться. Но их живо одернули.

А руки мои действительно в первые дни багра не держали, бревна не слушались, не катились, и к тому же мне казалось, что мой напарник специально кричит на меня, чтобы сбить с толку:

— Юзим! Бахом, бахом!.. Кати! — и так без конца.

Но постепенно я замечал, что у других штабелей кричат так же. Бывало, какое-нибудь очень тяжелое бревно не идет вверх, хоть ты лопни. И тут вбивается рядом с моим багром еще чей-то багор, и бревно пошло. Что и говорить, было трудно. Но ребята оказались правы: я привык и теперь уже профессиональный каталь. И жизнью своей доволен.

Помню день в последней пересыльной тюрьме, когда я гадал, буду ли дышать чистым воздухом, увижу ли цветы. Помню, как, глядя на обитателей БУРов, потерявших человеческий облик, я возненавидел людей и думал: много ли надо, чтобы сделать из человека животное — оградить колючей проволокой, и все. Но вот здесь, у штабелей, я смотрю на этих полуголых парней с великолепной мускулатурой и знаю: неправда, этого мало. А цветы... Их еще нет, но воздух чудесный, изумительный, самый чистый. И еще помню тот первый день, когда пришел в лес. Была осень, снега еще не было, лес стоял разноцветный, красивый, как в сказке. «Вот она, живая жизнь, — подумалось, — это тебе не мертвые стены, здесь все живое, каждая веточка, каждый листочек, даже земля под ногами живая». Ходил я в лесу и все нюхал, словно дикий зверь. Набрел на желтокожую сосну, с нежностью стал ее гладить. Подошел бригадир, Сема.

— Ну как? — спросил он неизвестно к чему.

— Никак, — ответил я.

— Чего дерево обнимаешь, влюблен, что ли?

Я сказал, что это я обнимаю не дерево, а трогаю руками свободу и жизнь.

— Чудак ты, — сказал он и ушел.

Этот парень из Смоленска никогда не был наедине с четырьмя холодными стенами. Он белорус, чистокровный мужик, и потому нет у него никакой клички — просто Сема. Работяга, каких мало. Откуда ему понять, почему я чудак. Но он хороший парень. За что он здесь — не знаю, об этом не принято расспрашивать. Вообще бригада наша — высший класс, хотя в основном парни все в «прошлом» — бывшие «законники». Нас одиннадцать, и наш девиз: один за всех, и все за одного!

Мой напарник Георгий — тоже без клички. Он мне постоянно твердит: «Генацвале, говорю тебе, езжай, когда освободишься, на Кавказ. Там в горах, такая вода, сегодня попьешь — завтра здоров будешь, как бык». Он мой напарник и мировой парень. Выглядит он как разбойник XVII столетия — дикая черная борода, усы. Он очень поворотливый, немного грубоватый. Однажды он из-за меня попал в карцер. Было это, когда я отработал в этой бригаде свой первый месяц.

Кончился месяц, начался другой, и мы получили зарплату. Собственно, мы ее получаем в виде продуктов, которые по ведомости отпускают нам из магазина колонии. Еще по дороге в зону, когда шли с работы, я все представлял себе эту процедуру и гадал, сколько начислили — рублей пятьдесят или шестьдесят? А может, больше? Некоторые из наших даже семьдесят получили, может, и я... Я не то чтобы был голоден, просто хотелось и мне в общий котел внести свою долю. В магазине — он у нас называется ларек — было полно народу, шумно. Отоваривались побригадно. Когда дошла очередь до наших, я тоже подошел к окну. Сказал свою фамилию и жду. Бухгалтер все перелистывал ведомости, потом сказал:

— Вас у меня нет. Вы раньше в какой бригаде работали?

Я ответил, что ни в какой.

— Значит, не начислили, — сказал бухгалтер.

Я отошел от окна. Товарищи меня успокаивали, мол, не волнуйся, начислят. Это просто в бухгалтерии что-то напутали. Но меня это не радовало.

— Да ты не огорчайся, — говорят парни, — что у нас, жратвы не хватает?

Жратвы, конечно, хватало, но мне было не по себе. «Как же так, — подумал я, — ведь целый месяц работал...» Молча направился к выходу, а бригадники молча смотрели и жалели.

— Ничего, — сказал я им, — просто я сегодня почувствовал, что значит, когда кто-нибудь отнимет трудовую копейку...

Я ушел в барак и лег на свою койку. В памяти воскресло давно виденное: старые стоптанные женские башмаки и детские, тоже старые... Еще восемь рублей и письмо отца, бросившего своих детей. Я тогда не взял этих денег, но только потому, что их было очень мало...

Жестокая шутка жизнь, она ничего не забудет, она все тебе со временем припомнит... Эх, как мне хотелось сейчас порассказать всем, кто этого еще не знает, какая это мерзость — жизнь воровская.

И вот пока я там лежал и соображал, ко мне подошел Григорий и сказал:

— Не надо, генацвале, не грусти, тебе тоже дадут ларек. — Он присел на край койки, тряс меня за плечо и все повторял: — Надо смеяться, генацвале, завтра добудем мясо, сварим суп, жить надо! А потом тебе ларек будет...

Он ушел, а затем пришли парни и сказали, что Григория посадили в карцер. Оказывается, он пошел к начальнику колонии и там стал требовать, чтобы мне немедленно дали ларек. «Немедленно» это сделать не могли, обещали через пару дней. Нет, Георгий не мог этого терпеть, а когда его попросили покинуть кабинет, начал ругать начальство и бухгалтерию. Ну, ему и дали трое суток карцера. Только на другой день выпустили, вся бригада ходила к начальнику объясняться. Вот какой у меня напарник — генацвале.

А другой наш сотоварищ — Росомаха, имени которого никто не знает. Все свое свободное время жертвует картам, можно сказать, с ними он родился, для них жил и с ними умрет. Только придет с работы, не успеем

поужинать, как он, тасуя карты, мчится в гильдим, взывая: «Кто хочет сладко пить и есть — прошу напротив меня сесть!»

Что такое гильдим? Гильдим — это барак, где живет самый отвратительный народ. Вымогатели, картежники, отказчики — основное население. Там в одном углу режутся в карты, в другом — за ширмой из одеял еще чем-то занимаются; там, глядишь, кто-то спит совсем голый, все с себя проиграл. В общем, гильдим — это гильдим.

Самый старый из нас — Быдло. Ему скоро стукнет пятьдесят. Был когда-то в колонии поваром, но однажды утром, когда работяги пришли в столовую, вместо завтрака нашли Быдло. Он сидел в котле и говорил:

— Сварите меня, ребята, мясо я проиграл.

Ему простили, потому что он большой чудак.

Еще есть у нас «Кузя» — маленький хитрый человек, который и дня не проживет, если кого-нибудь не обманет. Обманы его пустяковые, например: выменяет на ерунду чьи-то кальсоны, раздавая сахар, положит себе лишнюю кучку, и все в таком же роде. Ребята к этому относятся добродушно, знают, что это его болезнь. А в общем парень он неплохой, это его багор частенько мне помогал, когда попадались тяжелые бревна.

А всего нас одиннадцать человек, и живем мы, как я уже говорил, дружно.

И уж, конечно, я меньше всего мог думать, что найду успокоение не в одиночестве, а в бригаде каталей.

■

Костры в оцеплениях в зимнее время необходимы. Когда работаешь, конечно, не холодно, но все же веселее, когда где-то неподалеку горит костер твоей бригады. Там, у костра твой хлеб. Пристроишь его как-нибудь на умеренном расстоянии от огня, и он там поджаривается, делается вкусным. Потом, в обеденный перерыв, присядешь у костра и смакуешь его. Костры нужны зимою. Они горят повсюду, у каждой бригады свой костер, у всех, кому не лень его разводить, — костер. Вечером костры аккуратно тушат, но угольки прячут под золой, чтобы на другой день легче было разжигать.

Сегодня, бродя после работы (наша бригада закончила раньше) по зоне, я набрел на чей-то догорающий костер. Около него сидели «фитили»— так называют доходяг, отказчиков, промотчиков, потому что они, словно фитили, еле горят, от воздуха дрожат.

Костер все ниже, ниже...
Фитиль все ближе, ближе.

Сидят фитили согнувшись, а костер действительно все ниже. Одеты они паршиво, в тоненьких, почти без ваты бушлатах, заросшие, грязные. Костер вот-вот потухнет, еле тлеет, но им трудно подняться, отойти от него, чтобы хоть дровишек подыскать. Холодно. Если уж совсем погаснет огонь, придется волей-неволей идти за дровами. Беру пару поленьев, подхожу к костру, бросаю в огонь. Затрещал костер, обвились пламенем дрова. Присаживаюсь. Такова неписаная традиция: бросишь в костер хоть чурку — садись около него, если есть место.

Сидят фитили, молчат.

— Курить есть? — спрашивают. Я не курю.

Сидим. У каждого какие-то думы. Уже стемнело, зимний день короток. Скоро съём — заколотят по рельсу. От костра поднимаются искры, иногда ветер обдаст дымом, и тогда зажмуриваю глаза, чтобы не лить слезы. Фитили целый день сидят у костра, их выводят на работу, но они

слабые, заморенные, разведут костер и сидят. А вечером их за то, что не работали, — в карцер. На второй день опять то же самое. Их жизнь незавидная: карцер, голод. Они боятся холода, и именно потому им суждено мерзнуть — ведь им не дают новых бушлатов, а старые они обтрепали, а многие проиграли или променяли на хлеб. Они боятся голода, и именно поэтому они всегда голодные — ведь работать они не хотят. Они боятся загнуться от работы — и загибаются от недоедания, от холода, кровь-то их не греет. Бесполезно им объяснять, что у костра холоднее, чем у штабелей, где люди работают почти в одних рубашках, какой бы ни был мороз.

Меня они знают. Знают, что и я когда-то не выходил из зоны, хотя не был в отказчиках; они знают, что я был инвалидом, и удивляются, чего это я пошел в лес. Говорю им, что мне нравится, и пытаюсь передать хотя бы частично то, что ощущаю. Они говорят: «Тебе хорошо, ты вон какой здоровенный «амбал». Чудаки. Ведь они не знают, какие меня мучают боли. Но кое-кто из них прав.

Вот Моргун, маленький, тщедушный, неразвитый совсем физически. Какой от него в лесу толк? Разве сучки собирать, но и это тяжелая работа. Легко сказать: «сучки»... Но он, Моргун, ничем не болеет, и поэтому медкомиссия определила ему первую категорию. А раз первая — надо идти в лес. А Моргун не хочет, боится, тяжело ему. Об этом следовало бы кому-то думать. Для начальства степень его исправления измеряется количеством мозолей, только у него они на мягком месте — натирает в карцере. Рано или поздно его трудоустроят на легкой работе, а пока он сидит у костра и грустно смотрит в огонь.

■

Капитан Белокуров... С этим человеком у меня образовались самые непонятные отношения за мое пребывание в колонии. Он призван воспитывать нас, а, видимо, взял на себя обязательство преследовать меня. Он ревностно следит за каждой моей неудачей, где бы мы оба ни находились, вызубрил наизусть мое личное дело, тычет мне в нос моими неудачными побегами, тюрьмами, карцерами. Когда меня перевели из Красновишера после моего конечного побега и водворили в изолятор под следствие, я даже не удивился его появлению. А он спокойненько, как всегда, словно читая лекцию или доклад, начал взвешивать мои шансы — за и против — в этом последнем мероприятии. Нет, он не издевается, а вроде решает математическую задачу: вот это плюс, а вот — минус.

Когда я приехал из тюрьмы, он меня тут же вызвал и, словно не было двух лет разлуки, начал подытоживать факты, которые были, разумеется, не в мою пользу. Именно поэтому терпеть этого человека не могу, хотя не признать его правоту иногда тоже не могу. Все, что он говорит, конечно, правда. Но в том-то и дело: всюду правда — газеты, радио, начальники — все говорят тебе правду, внушают с утреннего подъема и до отбоя: ты должен «понять», ты должен «выходить на прямую», ты обязан «исправиться». Вот он меня все вызывает и тянет жилы — раньше за старое тянул, теперь, будто это его кровное достижение, начал захваливать за то, что я все же «понял», «исправляюсь», и «выхожу на прямую»... Придешь вечером с работы уставший, мечтаешь об ужине, постели, но не успеешь войти в зону, он вызывает — как день прошел? Ну, что там может быть особенного? Неужели он думает, что это его неотступное преследование заставило «понять»? С ним еще, пожалуй, поспорить можно, мысль у

него часто примитивна — цифры, даты. Цифры я вообще плохо запоминаю. Вот и решил — черт бы его побрал! — нарушить эту плавную линию правды и не вышел на работу. Конечно, угодил в карцер. Он, как узнал, вызвал и... началось.

Он холодно спросил:

— О чем ты думаешь? Что ты умеешь?

Я понял, к чему он клонит, и взбесился. Ведь и сам не хуже знаю, где и когда дурака свалял, и нечего теребить болячки. А ему хоть бы что, пошла математика: «два года убил в тюрьме, а мог закончить три класса в школе колонии или приобрести какую-нибудь специальность в промзоне...» и т. д.

Ну вот, тут я и вскипел и начал в свою очередь обвинять начальников, кого за что, одного справедливо, но другого, пожалуй, и нет. Если разобраться, не так легко воспитывать взрослых людей, упорно сопротивляющихся всему положительному, в колонии их много.

Ведь я сам безошибочно могу сказать, кого из нас можно сделать человеком, а кого хоть сегодня, хоть завтра убей — все равно. Но это лишь потому, что в течение четырнадцати лет и днем и ночью, в карцерах, в тюрьмах, на работе и на отдыхе — везде и всегда я с ними; потому что мне доступнее их мысли, психика, жизнь и стремления, чем любому администратору, любому воспитателю, сколько бы тот эту массу ни изучал, сколько бы знаний он ни имел. Что касается моих суждений, пусть капитан Белокуров не обижается.

Бесспорно то, что здесь должны быть руководителями люди с сильными качествами массовика и педагога (педагога потому, что заключенные, эти взрослые люди, во многом все же дети и разум у них детский), они должны обладать высоким интеллектом и высокими принципами; нужны не прогоревшие где-то карьеристы и бюрократы, а люди, имеющие душу, ум и совесть. Это означает — коммунисты...

■

В больнице.

Хочется сосредоточиться, чтобы писать, но это почти невозможно из-за молодых людей, живущих со мной в одной палате. Они своим существованием буквально отравляют воздух. Это люди, считающие ниже своего достоинства кого-либо уважать. Женщины для них без исключения лишь проститутки, ни одна из них не может противостоять их чарам или деньгам... Целыми днями поют блатные песни и занимаются совсем недостойным мужчин делом — сплетничают. Они судачат о людях, находят в них уйму недостатков и, конечно, совсем не уделяют внимания своим.

Завтра меня выпишут, подлечили немного и — опять в колонию. Уже весна, и скоро свобода... Здешние врачи быстро поставили меня на ноги. Здесь я и встретился снова с Вах-Вахом. Видимо, он частенько лежит в больнице. У него язвенная болезнь, и, недавно его уже третий раз оперировали, причем, надо сказать, по его собственной вине.

Как-то, прогуливаясь по коридору, я заметил через стеклянную дверь в одной из хирургических палат чьи-то огромные тоскливые и очень знакомые глаза, которые каждый раз, когда я проходил мимо, с немым вопросом за мною следили. В них был словно упрек. И тогда я заметил, что у него смешной нос. Арсен?! Я вошел в палату. Да, это был он, хотя узнать

его было нелегко: в кровати лежал невероятно худой — совершенный скелет — страшный, обезображенный болезнью человек. Он был настолько слаб, что не мог шевелить ни рукой, ни ногой, даже говорить он толком не мог, было чрезвычайно трудно его понять, и в палате он лежал один.

Оказывается, рассказывали санитары, ему сделали резекцию желудка. Операция прошла благополучно, и все было бы хорошо, если бы не посылка... Дело в том, что Арсен сразу же после операции получил из дому посылку со всякими вкусными вещами и, хотя ему это категорически запрещалось, съел, можно сказать, половину этой посылки — мед, фрукты и разное другое. А утром он взорвался, то есть живот его вздуло, полопались швы, и Арсена снова оперировали. Только теперь ему с каждым днем становится все хуже и хуже, и уже никто не надеялся, что он выживет. Кормить его надо было с ложечки, а ходил он под себя, как маленький ребенок. Все знали: не сегодня — завтра помрет. Может быть, он бы и умер, потому что бывают положения, когда самые лучшие врачи бессильны; положения, когда человека может спасти лишь одно — любовь. И если она где-то рядом, ты спасен, если же нет — каюк тебе. Может быть, и я бы в свое время умер, если бы мое сердце, совершенно ослабевшее из-за потери крови, не поддержал бы своими ласковыми заботами, своими ободряющими беседами Арсен! Помню, когда его выписывали, уже одетый в арестантскую спецовку, он пришел попрощаться со мной. Я еще лежал тогда. Он присел у моей кровати, поговорил немного, попрощались. А потом я нашел под подушкой у себя четыре мандарина, видимо, ему из дому прислали.

Если ты мышь обласкал, и она тебя полюбила, в бороде твоей жила, если ты воробья выкормил — он тебя полюбил, от тебя улетать не хотел, ты полюбишь и человека, и он тебе тем же ответит. Разве мог я забыть, чему меня научил Арсен, — милосердие к несчастным, любовь к человеку. Мы поменялись ролями на этот раз. И мне совсем не было противно убирать за ним, менять его постельное белье. Я не уставал его кормить и следить за тем, чтобы ничто не мешало его сну, чтобы всегда было тихо в палате, чтобы всегда был чист воздух. Я не уставал от его бесконечных капризов. На тумбочке лежали письма от его родных, на которые он уже давно не отвечал. Я написал за него его родным, что он болен, что он непременно выздоровеет. Я их не обманул. Он выздоровел, лежит теперь в общей палате, ест, шутит, смеется. Собственно, он и не лежит, он уже понемногу ходит.

А меня завтра выпишут. Поеду в бригаду. Говоря по правде, соскучился. Только теперь меня переведут в другую бригаду, в дорожную. Эта бригада состоит тоже из малосрочников и ходит под отдельным конвоем, но не хочется уходить с погрузки, там настоящие парни и работа что надо. И все же придется уйти. Меня теперь туда не берут: у меня язва и еще какая-то штука в левом боку. Товарищи давно заметили, что начинаю сдавать, все потихоньку старались уговорить меня перейти в дорожную, все чаще отдавали мне штабеля полегче, ставили на четверку и т. д. И я как-то тянул, работал. Но однажды вдруг в глазах потемнело, я бросил багор и упал. Через час меня отвезли в зону и поместили в санчасть. Я лежал, уставившись в потолок, и вспоминал, как когда-то давно, на острове, симулировал больного. Кажется, был у меня тогда «детский паралич»... Как давно это было, сколько прожито с того дня, и какой жизни...

Вечером с работы пришли парни. Они сразу от ворот прибежали в

санчасть узнать, как мои дела. Набилась полная палата народу, и сочувствие этих грубых людей, выраженное опять-таки не без мата, было таким искренним. Я удивляюсь себе: как мог я жить среди них годами и видеть только моральных и физических уродов, обитавших в карцерах, БУРах, не вылезавших из зоны, пуще смерти опасавшихся загорбатиться от работы, и не замечать этих здоровых, крепких, жизнерадостных и дружных парней. Ведь они прошли, как говорят, огонь, воду и медные трубы; они окунулись в грязь до дна, но они выбрались, она стала им противна, и они ушли на чистый воздух, в лес. А из леса они уйдут на свободу. Уйдут с трудовыми мозолями на руках, уйдут, готовые к трудностям, ко всему. Ну что ж, и меня грязь не затянула, я тоже пришел к ним на чистый воздух — в лес. И я совсем не виноват, что вот болею и должен теперь от них уйти. Но я не вернусь в зону, в небытие, нет — я иду также на чистый воздух, в дорожно-ремонтную бригаду, назло всем болячкам.

Когда меня на носилках вынесли из зоны, чтобы отправить в больницу, бригада провожала меня до ворот. Парни отняли у санитаров носилки и понесли их сами. Говорили о пустяках, да не в этом дело... Какая разница, о чем говорить, — это не главное. Главное — это проводить друга, быть с ним до самых ворот, пожать его руку на прощанье.

Хороший я прожил кусочек жизни с этими парнями, которые видели жизнь и найдут в ней свое место, очень хороший кусочек.

■

Утром, после завтрака и прочих процедур, что начинаются с подъема в семь часов, идем на работу. Нас десять человек — бригада. Собираемся у ворот и побригадно выходим за зону. За воротами нас встречает конвой, в распоряжение которого поступаем по выходе из зоны. Садимся на машины. Конвой читает ежедневную утреннюю «молитву», которая звучит приблизительно так: «Вы поступили в распоряжение конвоя и обязаны выполнять все требования конвоя беспрекословно. В строю по пути следования не разговаривать, не курить; при попытке к бегству конвой применяет оружие без предупреждения»... Затем следует традиционный вопрос, скорее угроза: «Ясно?!» Зеки отвечают хором: «Ясно!» Можно выезжать к месту работы.

Наше место работы — дорога, по которой едем.

Отъезжаем от колонии километров 20—25, слезаем с машины, снимаем инструменты, затем машина уйдет, а мы останемся, чтобы заделывать проломы до вечера, пока за нами опять не придет машина.

В бригаде каждый знает свое дело: кому подносить материал — таскает доски, шпалы; кому копать — с лопатой не расстается; кому на мотопиле «Дружба» работать — сверлит дыры; кому нагеля точить — этот целый день таскает на себе мешок с толстыми деревянными колышками и, когда приходим к пролому, затачивает их концы небольшим топориком; мой удел — кувалда. Тяжелая штука, 16 килограммов («понедельником» прозвали ее ребята). Мое дело забивать нагеля. Тяжело, но мне нравится. И я это делаю красиво. Раздеваюсь до пояса, надеваю рукавицы и — сто нагелей без перекура. После этих ста нагелей кувалда, правда, весит уже не шестнадцать — сто шестнадцать кило, но зато ногам спокойно. Дело в том, что ничто, кроме кувалды, меня не касается, утром я ее обниму и расстанусь с ней только вечером. И это здорово: есть нагеля — забиваю, нет их — лежу на бревнах, у дороги, загораю. А таскать шпалы, пилить, колоть, копать — удовольствие не очень-то большое. Кувалда в моих руках ходит

легко, свободно, и движения мои, я знаю, гибкие. На меня в тот момент, когда забиваю нагеля, приятно смотреть. А мне тоже приятно внимание бригадников и конвоя, которые, чтобы лучше видеть, даже подходят поближе; хорошее это ощущение. Кувалда ритмично бьет по нагелям, они один за другим исчезают в древесине шпал. Да, еще осталось кое-что от былой силы, и, кажется, она с каждым днем все прибывает. Движение и воздух — лучшее лечение, против всех болезней помогает. Право же, это так, а если еще настроение хорошее, если имеются в запасе песни и смех, тогда и вовсе здорово.

Правда, смех и песни — это не всегда зависит от нас. Иной раз и хотелось бы запеть, да не до песен, не до шуток, не до смеха. Это во многом зависит от тех, кто нас охраняет, — от конвоя. Вот когда ходим с Иваном Костромским (из Костромы он) — тогда песни, смех, шутки и работа что надо. Он старший конвоир, простой парень, сам охотно пошутит и никогда никого не обидит: «Устали — отдохните, река рядом — умойтесь, освежитесь». Воткнет в землю вехи для обозначения зоны, за которую мы не вправе выходить, и будьте любезны, занимайтесь своим делом. Он не переходит грани дозволенного ему во взаимоотношениях с нами, заключенными, но и не считает нас заразой, достойной одного только презрения. Не то что другой наш старший конвоир — Рыжий. Он действительно рыжий и еще очень злющий. Когда ходим с ним — ну, спасу нет. И что за противное отношение... Можно подумать, что кто-нибудь из нас у него лично кошелек стянул. Ненавидит он нас, видать, люто. Недавно он до того озверел, что сам командир взвода упек его на гауптвахту. Это был страшный день. Поведение старшего конвоира с утра всех нервировало. Он беспрестанно на нас орал, требуя то прекратить курить, то перестать шептаться. Даже его помощнику, мы видим, противно. Рыжему солдаты тоже не очень, видимо, симпатизируют, они его прозвали «капралом».

Начали мы в тот день работу. Отремонтировали первый пролом, затем еще два пролома и остановились на перекур. День очень жаркий, не меньше 35 градусов. Разделись, предоставив свои тела бесчисленным комарам, слепням, мошкаре. Жарко. От невыносимой жары в горле сухо, трудно дышать. Но спрятаться от солнца некуда. Хотим пить. Дьявольски хотим пить. Рядом у дороги, метрах в двух от нее — ручеек. Мы хотим пить все как один. Пошли к ручью. Тут грозный окрик Рыжего заставил вернуться на дорогу. «Не будет воды!» — заявил он и щелкнул затвором автомата. Бригада его просила, ругала, умоляла, а он: «Не будет воды!».

Садимся, отказываемся двигаться дальше. Сидим у ручья и глотаем слюну, у кого она еще есть. Таким образом просидели час, Рыжему надоел окружающий колорит. «Вставай, пошли дальше!» — скомандовал он. Мы ни с места. Он орет, бесится, наставив на нас автомат, подходит вплотную. Нервы у всех напряжены. Встаем, идем дальше. Отремонтировали еще пролом, еще много проломов. Брюки от пота, текущего по нашим спинам, прилипают к ногам, тела наши в укусах; язык у всех засохший, говорить не хочется. Работаем. Оказывается, чтобы попасть в ад, не нужно умирать. Вот оно — настоящее пекло. Лето! Это сезон, которого так ждут повсюду люди, когда природа украшается зеленью, цветами, песнями птиц, когда весело журчат ручьи и земля благоухает. Лето?! Для нас этого нет. Для нас — жара, дорога, проломы, жажда, а для меня лично еще и кувалда...

Но и вчера было лето. Еще вчера я любовался своей работой и мною любовались другие, еще вчера я не ощущал веса своего «понедельника». Сегодня тебе не до песен, не до шуток, сегодня кажешься себе неудачни-

ком, обиженным судьбою, для которого нет надежды снова стать человеком, и растет в тебе злое чувство, ему этот Рыжий открыл своим поведением зеленую улицу.

День казался бесконечным. Но вот, наконец, вечер. Кончили работу, собрали инструменты, ждем машину. Хотим пить. Хотим курить. Курева у нас нет.

Сидим, ждем машину. Но вот кто-то из нас кого-то оскорбил, задел, и теперь эти двое ругаются, припоминают все пакости, которые один про другого знает. Наконец, вскакивают, друг на друга налетают, сейчас будет драка. Я тоже вскакиваю, чтобы разнять их, — нельзя допустить драки. Это мне нелегко удается. Наконец противники разняты, лишь поливают друг друга словесной грязью. Нервы напряжены до предела. Ведь могло произойти что угодно. Наконец — о радость! — машина. Поспешно погрузили инструмент, сели. Едем. И вот — зона. Вернулись... Идем на ужин. После ужина спешу к колодцу, в нем ледяная вода. Раздеваюсь догола, выливаю на себя пять-шесть ведер холодной воды. Хорошо! Ах, хорошо! Хорошо, что есть этот колодец, уже ради него можно жить. Здесь можно остудить нервы. А теперь можно и спать — день кончился.

Итак, сегодня, 18 июня, в 4 часа дня, тридцать два года тому назад, на острове Саарема родился я для того, чтобы прожить также сегодняшний страшный день. Да, это был действительно страшный день. Как много значит — воля одного. Он один может делать погоду десятерым. Захоти он — и мы бы не почувствовали тяжести неволи (как было с Андрюшей и Иваном Костромским). Но он не захотел, и мы ощутили физически давление одного дня. Может, так это и должно быть? Заключение — это наказание. Мы все десятеро совершили преступления, много преступлений. Многие из нас ненавидят общество, всякое общество. Многие притворяются исправляющимися. И за все это всех нас ненавидит он, этот не очень развитый рыжий парень. Он хочет, чтобы мы почувствовали, почем фунт лиха, и боялись попасть сюда снова, он хочет быть для нас страшным, и хотя он далеко не прав, но вообще-то, может, это справедливо: тюрьма потому и наказание, что она страшна, а страшным людям за страшные деяния и наказание должно быть таким же. Будет им в тюрьме вольно и беззаботно — будут ли они бояться ее тогда? Но что же тогда Андрюша и Иван? Они к нам относятся по-человечески, вселяют оптимизм и желание вернуться в жизнь, к честным людям, к честным делам. Поэтому Рыжего командир взвода правильно засадил на гауптвахту, он убивает всякую надежду на прощение, искупление, а если нет надежды — зачем тогда и стараться? Можно опять в карцер, в тюрьму, в побег — куда угодно, потому что трудись не трудись — все равно хорошим не станешь.

■

Ночь. Спят арестанты. В секции храп и немного, если быть скромным, несвежий воздух. Но это естественно для помещения, где живут седьдесят человек. Не спит лишь Серый Волк. Не спится ему: одолевают мысли, да и разные ночные происшествия, которыми полна жизнь колонии, не дают спать. Поначалу уснув, он проснулся от дикого, нечеловеческого воя. Вой действительно оказался не человеческим, а кошкиным, которая спасалась бегством под нары от гнавшегося за ней с недобрым намерением кота. Затем он было уснул опять, но немного погодя послышался другой вой, уже определенно человеческий. Это кричал во сне сосед, захлебываясь отрывис-

тыми похабными ругательствами. После этого Серый Волк уже уснуть не мог, опять появились боли, а вместе с ними и мысли. Мысли и чувства.

Скоро свобода. Осталось двенадцать дней. Скоро другая жизнь, в другом мире, где возможны счастье и любовь... Но мне страшно, я его боюсь, того мира, другого. Здесь нередки случаи, когда люди, которым предстоит освобождение, отказываются выходить на волю. Я их не мог понять, но вот сейчас смутно представляю их ощущение, их страхи; находясь долго в заключении — десять, пятнадцать лет, — они отвыкли от воли, потеряли способность быть самостоятельными, они не знают, как нужно говорить, как держаться, им кажется, что и ходят там, на воле, люди не так, как они, и спят, и едят — все делают иначе. Здесь все известно, здесь тебе приказывают — делай так, ходи так, стань этак, повернись, садись, вставай — все тебе приказывают. И это в течение многих, долгих лет. За это время ты в сущности живешь почти беззаботно: пища тебе, хоть какая-нибудь обеспечена; спать ты будешь — в зоне ли, в карцере, где угодно, но в основном в тепле. Твои дни однообразны, ты отбываешь срок. Но ты считаешь годы, события, месяцы, дни, делаешь это машинально, с тайною надеждой на то, что последний день — конец страшной жизни, после которой уже другим человеком начнешь новую. Но вот настал последний день, ты сейчас оставишь позади пятнадцать лет неволи, целую жизнь, и перейдешь в другую, а она тебе неведома, тебе боязно, тобой овладевает страх. Странно, когда решаешься на побег, этого не испытываешь. Тогда совсем другой страх — потерять жизнь. Так или иначе, но встречаются люди, которые в день освобождения отказываются выходить на волю. Таких, конечно, единицы, но страх, наверное, испытывает каждый, хотя никто в этом не сознается. Впрочем, если у тебя семья и ты пробыл здесь сравнительно недолго, наверное, тогда ты знаешь все наперед, тебе известно, что попадешь в привычное окружение, тебе известно, кто и как тебя встретит, ты получал письма и знаешь, какова та свобода, куда ты идешь. Но если ты прожил здесь целую жизнь, если свободу ты помнишь и знаешь только как период скитаний в притворстве, в страхе, если тебя никто не ждет и ты действительно не знаешь, как там живут нормальные люди, — страшновато. Но и интересно, очень интересно.

Какая она теперь — свобода? Как надо есть вилкой? Смешно, но вилку ты уже давно в глаза не видел. Как едят из фарфоровой тарелочки? А галстук завязать? Опять ты будешь похож на нильского крокодила, вышедшего из джунглей в цивилизованный мир. Двенадцать дней... А ведь их было четырнадцать лет. Давно — сто лет назад. И вот осталось двенадцать дней... Невероятно! Что будет?

Говорят, жить на воле таким, как я, надо буквально невидимкой. Носа нигде не показывай, потому что нас будто бы карают за одно то, что мы — ранее судимые. За любую мелочь — милиция, за малейшее подозрение — тюрьма. Зеки меня наставляют ежедневно на путь истинный: в общественных местах не показывайся, комсомольцев берегись как огня, а бригадмильцев и дружинников опасайся больше милиции — заклюют и за дело и без...

Действительно, получается страшная картина, хоть и не освобождайся совсем. Есть и такие, кто дает наколки, где можно легко «работу вымолотить». Но «вымолачивать» я не буду, потому что освобождается уже не волк, а человек, у которого есть, между прочим, совесть. Что же касается отношения общества к освободившимся, — вы, мне кажется, судите обо всем, глядя лишь со своей колокольни. Отношение людей ко мне будет такое, какое я заслужу. Я вообще не тешу себя мыслью, что меня встретят с музыкой, и готов к любым трудностям. Поэтому я не боюсь свободы.

Две жизни — та, которая была, и та, которая начинается, — а граница между ними — узенькая калитка. Сегодня еще по эту сторону калитки, в старой жизни. Последний день. Она остается, она меня отпускает. Но что впереди?

Мне тридцать два года... И нет ни образования, ни профессии, ни семьи, ни даже друзей. Тридцать два года пошли насмарку. А ради чего? Ради чего искалечены ноги, нажил язву, как псих ненормальный, вскакиваю при каждом неожиданном скрипе, шорохе? И жизнь, которая начинается, — я ее совсем не знаю. Ее надо будет осторожно узнавать, изучать. Да, конечно, нужно осторожно, потому что, наверно, встретятся и «Рыжие». А сам я? Действительно я уже другой? Здесь — да, а там?.. Ну, что за глупость... Неужели снова стану валяться в коридорах, дрожать в дорожных кюветах? И снова меня сможет бить каждый, кому не лень?.. А Сирье...

■

11.X.1963 г.

Мысья.

Последняя ночь... Завтра, 12 октября, Серый Волк выходит из клетки на волю. Нет... Серого Волка больше не будет. Освобождается гражданин, у которого есть имя, отчество, фамилия и, как я уже сказал, совесть.

А теперь подведем баланс:

5 лет 7 месяцев

\+

8 лет 7 месяцев 15 дней.

Итого 14 лет 2 месяца и 15 дней. Из этого срока один год в карцерах, пять лет в строгих режимных тюрьмах, остальное в колониях, причем только в строгих и особо строгих.

Более чем достаточно...

Как все последние ночи, я сегодня тоже не сплю. Какой там сон, ведь завтра — свобода! Свобода! Настоящая свобода. Уже не нужно будет опасаться ареста, врать на каждом шагу и дрожать за каждое слово, не надо больше играть роль человека. Завтра я получу паспорт и стану гражданином, мне будут говорить «товарищ» — ведь так обращаются друг к другу люди на воле. Вечером приходили парни из погрузки, принесли коечто из одежды, у меня же ничего нет. Георгий принес брюки, Быдло — рубашку, а Росомаха у кого-то выиграл свитер, и свитер теперь тоже вернется на волю; и потом мы попрощались, больше я их не увижу, потому что завтра в то время, когда меня выведут за зону, они будут на работе.

Пробили отбой, зеки укладывались спать, а мы еще долго сидели, о чем-то говорили, «чифирили», пока нас не разогнали надзиратели. Странное это ощущение — товарищи твои остаются в заключении, а ты среди них почти вольный. Вот я завтра буду ходить по поселку без конвоя, могу идти, куда хочу, а их поведут на работу под конвоем. А еще вчера так вели на работу и меня. Вчера я был заключенный, вчера, если бы нарушил запретную зону, меня могли бы застрелить. И вот — один день, один час, одна минута, и я перехожу из одной жизни в другую.

Думаю иногда, поверили бы мне такие же, каким был я сам четырнадцать или даже двадцать лет назад, если бы я им все рассказал о своей жизни? Поверили бы они мне, поняли бы меня? Те, кто ищет счастья, не зная о том, что так или иначе его надо заслужить — трудом, страданием, именно заслужить, создать, сделать самому. Такие, каким я был прежде, никому не верят. В своих неудачах они винят других, страдать они не хо-

тят, труда боятся. Они охотно, слепцы, идут навстречу ложной романтике и, мечтая о подвигах, приключениях, совершают пошлости, преступления. А грязь их не отталкивает, все глубже и глубже засасывает, они в ней тонут. И они мне, наверное, не поверили бы, потому что они ничему и никому не верят, даже самим себе.

Вот они-то мне сейчас и дают наколки, где «работу можно вымолотить», предсказывают, что не удастся удержаться на воле, что скоро опять сюда вернусь, страшат тем, что меня за непочтительные мысли об администрации могут просто убить. Они-то действительно почти не бывают на воле, считают, что нет на свете ничего хорошего, ни любви, ни дружбы, ни чести. Но таких, как Арсен и Росомаха, Георгий и Быдло, — их больше. Они тоже не скоро отвыкнут от жаргона и мата, но они не стесняются мечтать вслух о хорошей девушке, которая им поверит, они изобьют того, кто пытается доказать, что Россию когда-нибудь победят, они выделывают чудеса с баграми, и они-то знают, что я сюда больше никогда не вернусь...

Итак, завтра свобода. Как бы там ни было, но ясно одно: пусть мир полон негодяев и подлецов, пусть они встречаются на каждом шагу, в каком угодно виде, в каком угодно положении, пусть они есть — это еще не значит, что я должен быть подлецом. Кто знает, может, будет и у меня еще Родина.

■

ТЕТРАДЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГОД 1963

Это не шторм, нет, просто сильный ветер. Шумит море. Волны одна за другой ударяются в пристань яхт-клуба в Тори. Вдали, в море, словно в тумане, видна темная полоска — это остров Абрука. А километрах в двух от берега плоским блином лежит остров Лаямадала. На волнах у пристани качаются яхты, кричат чайки, пахнет водорослями, йодом, рыбой — морем... Даже не верится, что я на родине. Вот каменная дорога через разлив, по этой дороге мальчишкой, с ватагой моих подчиненных, бежал я, прыгая с камня на камень, в яхт-клуб. Это только название — дорога, на самом деле просто большие камни, наваленные как попало; они образовали что-то наподобие каменного забора, и тянется этот забор каменной тропинкой, через разлив, метров пятьсот. По этой тропинке можно отсюда, из яхт-клуба, дойти прямо до улицы Лоодзи, где когда-то я жил с мамой, отцом, братом и сестрой. Там наш старенький голубой дом. Стою у пристани. Когда-то, мальчишками, мы прыгали здесь в воду и плыли через залив, соревнуясь в скорости. На той стороне — другой яхт-клуб. Здесь мы ныряли, тоже соревнуясь, кто дольше пробудет под водой. Где сейчас все мои тогдашние друзья?.. Где Валдур, Свен, Арно, Велло? Сколько прошло лет... Сколько жизни прожито...

Даже не верится, что я на родном острове.

Но это так. Стоит только повернуть голову налево — и я увижу башни старой крепости, окруженной зеленым древним парком, где двадцать с лишним лет тому назад собрались трое совсем молодых и совсем глупых искателей приключений, чтобы отправиться в мир на поиски счастья и всего необычного, что в этом мире можно найти. Жизнь нам казалась тогда простой: будь смелым, ловким, сильным — и ты победишь все трудности. Это сугубо физическое понятие, но другого мы не знали...

«Кайяк! Кайяк!» — это кричат чайки, кружа над пристанью, иногда они стремительно падают в море и тут же взмывают вверх и опять кричат: «Кайяк! Кайяк!» Они говорят по-эстонски: «кайяк» по-эстонски чайка. Люблю этих птиц, как и воробьев. Воробьев люблю за их оптимизм, чаек — за то, что они птицы моей родной стихии — моря. Они отважные, чистые, красивые.

Изменился остров Саарема. Изменился и город Кенгисепп. Подумать только — в нашем маленьком городишке, который когда-то можно было за полчаса пройти пешком из конца в конец, ходит автобус... Улицы заасфальтированы, и дороги острова — тоже. А в парке опять живут белки... мои дорогие белки! Они имеют собственные дачи, построенные для них людьми, но предпочитают жить где-то высоко на каштанах.

Наши белочки — гордость горожан, они не боятся человека, смело прыгают на плечи прохожих, лазят к ним в карман, за пазуху в поисках лакомств, которые люди для них всегда носят в карманах. Во время войны они куда-то исчезли, но теперь появились снова в наших парках, живут, прыгают, принимают дань от поклонников, за что позволяют себя фотографировать. А парки у нас очень красивые, большие, чистые.

Остров изменился, город изменился, но не изменилось море. По-прежнему шумит оно, по-прежнему зеленое. Остров наш — самый красивый в мире, другого такого нет!

Вчера был на кладбище. Полдня искал могилу отца, совсем заросла она мохом и травой. Пришлось немало около нее потрудиться.

■

Чувствую себя на родине грустно, я здесь как чужестранец, приехавший в качестве туриста. От родного языка отвык, разговариваю с акцентом, и если кому говорю, что я островитянин, смотрят на меня с сомнением, не верят. Мне разрешено быть на острове десять дней. Поселился в гостинице, отдыхаю. Посетил крепость, музей, ходил смотреть на наш дом, плаваю, катаюсь на лодках. А в том, что плохо стал говорить на родном языке, удивительного ничего нет: ведь я десять лет не был на родине, десять лет не говорил, не читал, не писал на родном языке.

■

Другую могилу я долго искал. Я помню хорошо то место, где ее похоронили, помню белый деревянный крестик. Но не оказалось на этом месте ни могилы, ни креста. На этом месте стоит гордая, даже несколько высокомерная мраморная ограда, а в ограде тяжелая, тоже мраморная плита, заставленная сверху горшками цветов. И чужие имена в изголовье. Кого-то похоронили на ее могиле... А может, я перепутал? Спросить не у кого, где живут ее дядя и тетя, да и живы ли они — я не знаю. Но я не ошибся — она была похоронена здесь. Неподалеку от этого места растет молодая елочка. Я положил свои цветы на ее ветки. Она, наверное, помнит, когда хоронили Сирье, ведь она видела это.

Так вот... Жил когда-то человек, женщина. Была она добрая, ласковая, обыкновенная. Счастья хотела, любить хотела, никому не сделала зла. Она была скромная и смелая, та женщина, что когда-то жила... А те-

перь ее нет, как будто и не было ее совсем. Теперь никто даже не знает, где она похоронена.

Прощай, моя добрая, такого друга у меня больше никогда не будет...

■

Расставался с родиной долго, бродил по Вышгороду, по узким улицам старого Таллина, съездил на Пирита, где всегда многолюдно. А Пирита течет все так же, как и десять лет назад.

Когда собрался уезжать, на вокзале случайно встретил Мишку-Проныру. Он стоял с большим коричневым чемоданом и на блатной мотив мурлыкал какую-то песенку, озабоченно озираясь по сторонам. Я вспомнил нашу давнюю встречу, когда «тяпнули» с ним за пропавшую жизнь, вспомнил все пережитое за последние годы, и как-то обидно стало, ведь жизнь-то оказалась не пропавшей, ее можно было спасти.

Догнав его, я крикнул:

— Здорово, Проныра! — Он оглянулся и... пошел от меня, прибавив шагу. Я побежал за ним: — Ты что же, брат, старых друзей не узнаешь? — Тут он поставил чемодан и, как-то смущенно улыбаясь, сказал:

— Здорово, ты откуда приканал?

На этот раз ему можно было знать.

— Да вот, посетил родные края, — ответил я.

— Опять в беге, что ли? — спросил он будто нехотя.

Я рассказал о себе. Он слушал внимательно, его когда-то плутоватые, а теперь погрустневшие глаза словно выражали недоверие, и я понял, что он не очень-то поверил моему рассказу.

— А ты все «углы вертишь?» — спросил я подозрительно, кивая на чемодан.

Тут Мишка разразился такой бранью, какую мне, в прошлом известному мастеру этого жанра, и то редко приходилось слышать. Я слушал его с истинным наслаждением. Однако прохожие, не столь компетентные в этом виде искусства, и оказавшийся поблизости милиционер оглядывались на нас с выразительностью, отнюдь не говорившей о признательности.

Я осведомился у Мишки, что, собственно, вызвало у него такое «вдохновение». И вот что он мне рассказал.

Он живет в Таллине, углы — не вертит. Последний раз «вертанул» шесть лет назад, и пять из этих шести лет ему внушали, что это нехорошее дело — «вертеть углы». Он согласился и уже год изготовляет чемоданы в какой-то артели. Все-таки остался верен чемоданам...

Женился он, маленьким Проныренком обзавелся, однако где-то на Кавказе у него отыскалась многочисленная родня — чуть не целый аул, — и он их навестил. Когда собрался домой, родственники надавали много подарков, но Мишка привез только полный чемодан винограда.

Вместе с ним в купе ехал гражданин, у которого был такой же, как у Мишки, чемодан. По прибытии в Таллин гражданин перепутал и унес Мишкин чемодан. И теперь нужно найти этого гражданина и съездить ему по уху, чтобы не трепал Мишкины нервы, и вернуть виноград маленькому Проныренку.

■

Пошли в ресторан при вокзале, заняли столик. Тяпнули, помолчали. Потом я спросил:

— А... какой у него нос?.. У Проныренка?

— Обыкновенный, — сказал Мишка, и мы весело засмеялись. Я по-

интересовался, почему он, собственно, совершил такую непонятную штуку — женился.

— О, душа любезный, — сказал он, — втюрился Мишка...

— Потому и завязал? — спросил я.

Мишкин нос зашевелился, совершил небольшой круг вокруг своей оси. Он закурил и сообщил:

— Ты что думаешь, это тебе пятьдесят четвертый год? Или думаешь — Мишка дурак? Или слепой? Ты ничего не знаешь. Вот поживешь — увидишь. Ты думаешь, еще есть воры? Не ищи — нету. Сейчас не так, как было раньше. Тебя в тюрьме только надзиратели охраняли, а здесь с тебя не спускают глаз: жена — раз, уголовный розыск — два, милиция — три, бригадмильцы — четыре, дружинники — пять, — Мишкины пальцы один за другим растопырились. — Без прописки не проживешь и двух дней, а говорить нужно научиться во что бы то ни стало на грамотном языке, без всяких там междометий и прочих словечек...

Тяпнули, закусили повздыхали.

— Тряпки и часы обесценены, за них ни черта не возьмешь, разве если что-нибудь заграничное попадется... А деньги... За мелочью не погонишься, а большие деньги все на сберкнижках.

Налили, выпили, повздыхали.

— Раньше, бывало, пробежишь по карманам — на базаре, в трамваях. Смотришь, к вечеру, мало-помалу, приличный заработок набран. Теперь же и карманы... Ну, что в них найдешь? Разве что вытянешь перчатки у какого-нибудь ротозея. Как выдумали эти новые деньги невероятно малого размера... так спрячут — не найдешь. Да еще одеваться стали непонятно, ты себе не представляешь! Моды всякие... Ты, например, уверен, что карман на своем месте, где ему быть полагается, а его уже переместили в другое место, где тебе в голову не придет его искать.

Налили, выпили, задумались.

— И как тут жить... при такой ситуации? Только дураку неясно, что надо менять пластинку. А ты? Что же...

Мишка не закончил вопроса, но я понял его.

— Нет, Миша, не я тот дурак. И время тут ни при чем.

Тут откуда-то сбоку послышалась знакомая речь; оглянувшись, я увидел за столом в углу компанию молодых людей. Это были даже не молодые люди, а скорее ребята — по двадцать лет и меньше. Но эти парни — семь морд — с длинными до плеч волосами, одеты чудно, шпарили по «фене» так, что душа радовалась, на них глядевши.

— Однако врешь ты маленько, — сказал я Проныре, — еще, видать, не перевелись мушкетеры. — И показал на компанию в углу.

— Эти-то пугалы... мушкетеры? Петухи несчастные, — буркнул Мишка презрительно, и кончик его носика зашевелился, описывая круги. — Этих я знаю, они тут всегда. У них у всех приличные папочки-мамочки имеются, и, будь спокоен, если они кого и обворовывают, так своих любезных родителей. От вольной жизни, кроме жаргона, где-то нахватанного, у них ничего нет.

— А лихо как пьют-то, — заметил я, — и девчонки у них интересные...

К ним действительно подсели две крали в невероятно коротких юбочках, с прическами необъятной высоты и глазами под китайца — точно девицы из фленсбургского порта. Мишка досадливо махнул рукой, и мы занялись воспоминаниями.

— Ты куда думаешь определиться? — спросил Мишка. — Здесь останешься?

Он задел мое больное место. Ведь не все мои бывшие дружки такие, как Мишка, иной из них хуже врага, да и последние не перевелись. И еще здесь на каждом шагу преследуют воспоминания...

— Уеду отсюда. Хочу новой жизни, на новом месте.

Мишка что-то заерзал на стуле, с беспокойством поглядывая на часы, потом виновато сказал:

— Ну, ты прости, мне пора. Ждут меня. — Понятно — жена... Тяпнули еще, повздыхали, затем, пожав руки друг другу, расстались. Вернее, я остался сидеть с недопитой бутылкой коньяку, а Михаил Карапетян ушел домой, к своей семье.

Какое-то хорошее чувство появилось у меня к этому смешному человеку. На столе он забыл сигареты, я закурил. Противно, погасил. Допил коньяк, несколько менее противный.

В углу все еще заседала лихая компания, шпарила по «фене», пропивала пот родительский. Тут еще появился деятель один — длинный, костлявый, одет небрежно, в изношенном коричневом костюме. Лет ему сорок, а может, и больше. Лицо — большое, угрюмое — покрыто шрамами, на руках все объясняющие татуировки. Сел за столик рядом, заказал пиво. На меня не обращал ни малейшего внимания, но с какой-то жадной тоской стал наблюдать за компанией в углу, и вот на его равнодушном лице появилось красноречивое выражение надежды, загорелись глаза. Он, подавшись вперед, остро прислушивался к пьяному гомону за столом в углу.

Однако точно так же, как недавно Мишка, он скоро отвернулся от них, но с каким-то совершенно другим — жалким выражением разочарования на лице, словно его только что подло обманули. Это был не человек — сплошная хандра. Тут он обратился ко мне.

— Курить есть?

Я подал ему сигарету, он закурил, быстро допил свое пиво и, ни разу не взглянув в тот угол, ушел.

Смешно мне что-то стало. Видно, Мишка во многом прав: кое-кто ищет и не находит. Впрочем, кто ищет — тот найдет. Только смотря как выйдет: ищешь одно — найдешь другое...

Я встал из-за стола, направился на перрон. Скоро мой поезд.

■

И опять дорога. И опять ритмичный стук колес. А впереди — жизнь. Кто знает, может быть, не все еще потеряно.

ОТ АВТОРА

Уважаемые читатели!

После опубликования «Записок Серого Волка» мне поступает множество писем. Получаю письма от студентов, военнослужащих, педагогов, инженеров, словом, людей всевозможных профессий. И, разумеется, от заключенных. Многие из тех, кто имел отношение к уголовному миру, выражают благодарность за то, что мне удалось по возможности правдиво изобразить жизнь людей, живших жестокой и суровой жизнью вора. Однако недавно я получил послание (целая тетрадь, исписанная от корки до корки — кодекс воровского «закона»), в котором меня упрекают в плохом знании этого «закона». Высказывается соображение, что я, возможно, не был в «законе».

Я очень хотел бы сказать, что не был вором, хотя почти полжизни воровал и некоторое время общался также с «законниками». Вор, кем бы он

себя не считал — «законником», «честнягой», «одиночкой» — существо жестокое, беспринципное и настолько аморальное и отвратительное, что назваться им хотя бы из «тщеславия» (как выражается мой корреспондент) не делает чести никому. Это из тех явлений, которым не гордятся нормальные люди. Мне всегда были ненавистны жестокость и подлость. А воровал и совершал другие преступления в силу обстоятельств и собственного характера тоже.

Люди, подобные мне, есть еще, и я уверен в том, что человеческое в них найдет их, сколько бы не прошло времени. И такие люди о «законе» этом говорить не станут, они о нем забудут.

В моей же книге изображена жизнь преступника (неважно, «штопорило», «краснушник» или «майданник») — волка, поставившего себя против общества, стремящегося жить за счет других.

Книг о «перековке» преступников написано немало, но я вовсе не стремился создать такую книгу. Я хочу сказать в этой книге всем тем, кто потерял веру во все лучшее, потерял веру в свои силы, я хочу сказать им, что они сильны, что могут стать сильными, и что не нужно бояться жизни, а нужно стремиться к ней. Эта книга не написана с целью обвинить какую-либо разновидность преступного мира, например, воров — в «законе» они или не в «законе». Я рассказал о своей жизни для того, чтобы поддержать тех, кто ищет, по-настоящему ищет пути в жизнь (но не для тех, кто, надевая красную повязку, прикидывается смирненьким). И, судя по многим письмам от заключенных, я сделал эту работу не напрасно.

Приведу выдержку из письма бывшего вора. Его пишет человек, проживший долгую и бесполезную жизнь:

—...вот я здесь. Позади десятка два с половиной неправильной жизни, а впереди... три тысячи сто десять дней заключения. Возраст солидный — 20 ноября стукнет 46 лет. Что будет — не знаю. Но жить, думаю, стоит. Вы же, Серый Волк, еще раз убедили меня в этом».

Фраза из другого письма:

«... у Вас я нашел то, что до сих пор скромно умалчивалось: человек делает себя сам и помочь человеку может только собственный разум...»

Из третьего письма:

«Раньше, перед выходом на свободу, я строил какие-то планы, а сейчас стараюсь не думать об этом. Будь что будет. Вы знаете, иногда я придумывал для себя и для других конец такой, который удалось достичь Вам, но в глубине души не верил в достижение подобной мечты...»

Таких писем очень много. Да, люди ищут, потому что хотят жить, но они... не верят. Не верят себе, не верят другим. А начинать надо с себя. Вот об этом я больше всего хотел рассказать. И напрасно думают те, кто лишены свободы, что с окончанием срока они приобретают ее. Нет, свобода начинается не с того дня, когда ты выходишь за ворота. Она начинается и раньше и позже. Она начинается с того дня, когда ты впервые нашел в себе силы противостоять собственной слабости, и с того, когда ты уже на воле сумеешь победить недоверие людей, доказать свое право на свободу.

Здесь воспользуюсь случаем, чтобы ответить всем тем, кто в своих письмах интересуется, что стало дальше с Серым Волком. Вышел я из неволи неподготовленным к свободе, было невероятно трудно утвердить себя в большой жизни, завоевать доверие и равноправие, но об этом я подробно расскажу в продолжении «Записок Серого Волка». Сейчас я работаю именно над этой книгой.

АХТО ЛЕВИ.